

Les plus déserts Lieux

PHI

Philosophie critique

Philosophie poétique

Sur la Noblesse

Sur l'Art

L'Éthique

Нам Встречи Нет
La Mystique

L'Intelligence

L'Ironie

Regards poétiques

L'Enthousiasme

La Mélancolie

Sur la Politique

Les Uniques

Personnel

Hermann ILINE

1975

Таблица

Введение

I

1973-й год

Письмо 01	3
Письмо 02	8
Письмо 03	13
Письмо 04	16
Письмо 05	21
Письмо 06	26
Письмо 07	28
Письмо 08	31
Письмо 09	34
Письмо 10	38

1974-й год

Письмо 11	41
Письмо 12	44
Письмо 13	49
Письмо 14	53
Письмо 15	58
Письмо 16	62
Письмо 17	65
Письмо 18	68
Письмо 19	70
Письмо 20	72
Письмо 21	75

Письмо 22	78
Письмо 23	81
Письмо 24	84
Письмо 25	87
Письмо 26	90
Письмо 27	93
Письмо 28	96
Письмо 29	98
Письмо 30	101
Письмо 31	104
Письмо 32	106
Письмо 33	108
Письмо 34	111
Письмо 35	114
Письмо 36	115
Письмо 37	118
Письмо 38	120
Письмо 39	124
Письмо 40	128
Письмо 41	131
Письмо 42	135
Письмо 43	140
Письмо 44	143
Письмо 45	145

Письмо 46	148
Письмо 47	151
Письмо 48	153
Письмо 49	155
Письмо 50	159
Письмо 51	162
Письмо 52	164
Письмо 53	168
Письмо 54	171
Письмо 55	174
Письмо 56	177
Письмо 57	180
Письмо 58	183
Письмо 59	186
Письмо 60	189

1975-й год

Письмо 61	193
Письмо 62	195
Письмо 63	198
Письмо 64	201
Письмо 65	204
Письмо 66	208
Письмо 67	211

Письмо 68 *213*

Письмо 69 *216*

Письмо 70 *221*

Письмо 71 *224*

Письмо 72 *228*

Письмо 73 *232*

Письмо 74 *234*

Письмо 75 *236*

Письмо 76 *239*

Письмо 77 *242*

Письмо 78 *245*

Письмо 79 *250*

Письмо 80 *253*

Письмо 81 *256*

Письмо 82 *259*

Письмо 83 *263*

Письмо 84 *268*

Консулу *269*

Послесловие

277

Введение

Спустя полвека, я откапываю эти письма, настолько далёкие нынешней атмосфере, что мало кто из моих молодых современников отдаст себе отчёт в огромной психологической пропасти, лежащей между той эпохой и сегодняшним днём.

Та эпоха, в России, была богата интеллектуально и убога, жутка политически и экономически. Вращаясь в университетской среде, среди самых толковых в стране голов, можно было позволить себе роскошь закрывать глаза и на лживую, лицемерную, безжалостную систему власти и на необъятную серость жизни материальной. Почти все мои коллеги презрительно относились к безграмотным и дремучим старцам, руководящим страной, и иронически воспринимали примитивность своего быта. Почти все занимались серьёзной наукой, бывали в консерваториях, театрах, библиотеках, где и протекала их духовная жизнь. Жизнь реальная, почти у всех, была беспросветна и рудиментарна.

Новому поколению этого не постичь во всей этой страшной раздвоенности. Поэтому нижележащие страницы могут произвести впечатление чего-то надуманного, напыщенного, гиперболизированного. Не будучи безусловным сторонником *правды* в художественном творчестве, я всё же придаю этому документальному и не подправленному свидетельству и некий художественный смысл. Правда и стиль, так редко оказывающиеся соседями в моих книгах, идут рука в руку в этих письмах. Достоинство ли это или недостаток ?

- пожалуй и то и другое. Кстати, надо бы мне заметить сразу, что повесть эта является довольно вольным переводом с французского оригинала.

Публикую я эти письма исключительно для фиксации своей памяти в материальном источнике. Не заменяя памяти живой, они станут неким монументом, прикасаясь к которому, я поверю тому, что покажется невероятным даже самой требовательной памяти.

Иной век, иные тональности, иная чувствительность, иные рамки свободы и несвободы.

Я продолжаю традицию *Новой Элоизы* и *юного Вертера*.

Ниже, речь пойдёт о письмах, адресованных полвека назад москвичом француженке русского происхождения, готовящей диссертацию о русском Серебрянном Веке. В оригинале написано, в основном, на неуверенном французском языке.

Возможно, что в XVIII-м веке чувства излагались на схожем языке. Сегодня - век механики и в делах и в мыслях и в чувствах. Три года злоключений, паники, безнадёжности, кратковременного счастья и удушающего горя. Оправданная крайность в выборе слов и картине чувств.

Сочувствия, как и понимания, я не жду.

I. Сентябрь

С русских перьев, испокон века, по-свойски стекалось канючи, клянью и зауми. Русскому чувству по себе лишь в ущемленьях, угрызеньях и отступничествах. Но эта сумятица распалительна лишь меж своих. И как бы ни разыгрывала в вас, Анастасия, кровь предков, нынешний всепланетный занавес разведёт в две руки всякое общничество, схлестнувшееся поверх барьеров. Особенно худо достаётся близостям кровным, ведь чем живее связь, тем она безыдейней...

Право-слово, заговорить с вами, не волоча за собой постыдной скудости буден, это вызов моим невсхожим мыслям и нерастраченным мечтам. И я, анахоретствующий мсковитянин, поятый бесталанностью, людобоязнью и властью, постараюсь увернуться от серьёзности, так чтимой этим веком, и ввязаться в голословие пропадипропадного настроения и высунутого языка. Да пожалуй, в наше-то время о большем самоволии и думать не приходится. Нас так тешит этот трынотравий кукиш сери и гили жизни ! Когда-то кукиш вздёрнутый, а нынче кукиш в кармане - без этого не выписывается у нас никакая красота и не влюбливается никакая правда.

Где мне, лежебоке, нелюдиму и недотёпе, где мне до невалкой позы индуса или всеучастного залобья европейца ! В русском авосе, в русском похмелье я нахожу то забытьё, проникновенней наощупи Азии, то память, проникновенней сосредоточенности Европы. С тех пор, как у нас извелось кулачное и словесное прекословие, с тех пор, как к каждой голове-дичку подкромсали побеги, не знающие ни почвы, ни цветения, - как стать прививчивым, как дойти до плодоношения ? Так что если наша переписка и укоренится, то кивать

придётся то на какую-то неопалимую купину, то на падшие в добрую почву зёрна, то на лилии, затмевающие иудейских царей.

Вашей диссертации пришлось бы к месту усреднения и подсчёты, а я и о матушке России могу распинаться лишь превратно и всполошно. Да и вообще мы плохо видим себя извне, бессрочно прописавшись в самих себе. Оттого поступки наши так непоследовательны и неприглажены, их подоплёка не вытекает из весомых вещей и схватчивых интересов.

Мы не знаем своей страны. Ведь это на Западе - скученность равнодушных к человеку, у нас же - одиночество человеколюбивых. У нас избранность - уйти от толпы, гнушаясь её суда и лика, или идти в неё, затворяя пристрастно ум, глаза и ноздри. На Западе - подняться над толпой, на неё опираясь и в ней черпая жизнеспособность.

Под то, что невоспроизводимо и самопроизвольно, мы тщимся подвести знаки всего племени. На Западе, наоборот, за выверено схваченной общей чертой угадывают подноготную всякой, сколь угодно заковыристой жизни. В нас больше органичности, в них - измельчения и дотошности. Знак времени - вырождение первого восприятия во второе, переход от допотопного самодовления к цивилизации разделённого кропотанья. Но как же мы цепляемся за эту первобытную целостность неразложенного бытия, в котором глубина не перечит простоте и даже в неё бывает включена !

Существование изумительно для нас само по себе, вопреки или наряду с его проявлениями, извлечениями, толкованиями.- И синтез наш стихийен, врождён, а их - механичен, накопителен. Зато анализ наш поверхностен, а их — объемен.

Наш язык тоже потворствует органичности. Возьмите наугад выражения, непереводаемые слово в слово с русского или с какого-либо из западноевропейских языков. В русских будет непероложимо

отношение говорящего к высказыванию, в других - утвердительность или повествовательность.

Русский язык свойственнее всего работает по шкале *насмешка - ирония - задушевность*. В размерности *ясность - изящество - всеобщность* ему неуживчиво. Чуткость – это интуиция органичности, вкус - интуиция дробления, и по-русски естественней изъясняется чуткость, лишь маячащая над вкусом, чем вкус, заносщийся над чуткостью.

Искусство тяжелоступи и нездешности, пелены в глазах, перехвата в горле и захлёба рта. Припадание к чужой груди и биение в грудь собственную. Искусство навязанное, привнесённое в жизнь, но бредящее только жизнью. Ни врождённого художества, ни вытуженного самолюбования.

Нагруженность чувством в русском слове так привычна, что нейтральных, порожних слов в нём совсем самая малость. В эффективных, подменных шаблонах у нас мало надобности, ведь нас влечёт именно несоизмеримость. Не полноты нам ищется и не ясности - широты, широты...

Только по-русски так передашь состояние души, как по-немецки возвысишь поэтический образ, по-английски утвердишь высокородную весомость, по-французски облечёшь плотью свышеданную искусственность. Русский язык - это стихия, это творение из ничего, он - подвижник единоличия. Большая личность отличится по-немецки компоновкой слова, по-английски — его подтекстом, по-французски - его грациозностью. По-русски же - накалом, заряженностью.

Так неломко соскакивается в русском с велеречия на просторечие, с полноречия на полуречие. Так редко у нас любят самим словом, оно как-то вторично, несамодовлеющее. С него так легко снимается

всякая заданность, забитая значимость, может быть, оттого-то оно и оборачивается чаще творцом, чем служкой.

Для немца слово - ступень, для англичанина - кирпич, для француза - декоративная деталь, для русского - вздох, вскрик, взмах...

Нет, право же, писать вам, преславная затея и, небось, дальше - пуще, ведь первую-то песенку всегда лишь зардевшись спеть.

Есть же звездочёты, шлющие сокровенные знания о Земле в сторону таких безотзывных звёзд. Да ещё и верящие в какие-то сверхчувствительные антенны там, в пустоте. Язык подобных посланий неотразим бесстрашием и досветовой улавливаемостью, а мы опутаны страстями и неслышно проворониваем самый невечерний, чуть-чуть обогретый надзвездьями свет.

Стоит сунуть голову в брешь по имени *никуда*, как из неё бойко струится многовесомость, та самая, которой мы тщетно выискиваем в жизни дней. Да окажется схватчивей обычного ваш слух, а эфир - пропускней. Только помните: на взвешивание, не на пересчёт. Это заморе весом, а уж сызморя местом...

То, что этой осенью казалось нам обоим бесплодием и камнем, да обратится мало-мальской порослью, бороздой, а то и рошеньем, под зашей избирательной и отзывчивой рукой.

Чем мне поразуверить сегодня вашу картезианскую головушку, пока не пришла пора отвечать и на ваши письма? Меня пьянит разубеждённость, бесступечатость, неприкреплённость к аксиомам почвенных будней. Всякая размеренность мне тягло, всякая безмерность благо. Беспочвенность поблажает хмелю. Всякое наполнение жизнью сбивает упоение в глазах и душе - вот почему я так презираю всякую исполнительную, отчуждающую деятельность, так отдаюсь пустейшей, но своей созерцательности.

Довольствоваться скорее ничем, чем какой-то дряной определённой, так проявляется наша национальная болезнь - формобязнь. Европейец ищет сосредоточенности разуму и свободы сердцу, русский жаждет простора в действии и неизбежности в чувстве.

II. Сентябрь

Мы натужно тянем ляжку бессмысленности, а на Западе потягивают не утоляющий, но всенаводняющий смысл. Мы - это Сизиф, они - Тантал. Они смутно сознают, что изводятся за заброшенное, хотя ими же и выношенное человеколюбие. А вот мы за что маемся - никому неведомо, а с судьбой судиться нам не пристало.

Мы вскармливаемся конечным долгом, а не начальным правом, как они. Они - в суетливости Марфы, мы - в предчувствии Марии. В нас сомнительное прелестничанье Рахили перед такой плодovитой Леей. Безвидные крайности Иоанна перед кричащей серединностью Прометея.

Мы заходимся неразгаданной грустью и остаёмся самими собою лишь благодаря нерастраченности сил. И всякий вопрос нас волнует лишь в той мере, в которой он не допускает разрешения.

Общее благо, для нас, какая-то неосязаемая бредня, а между тем мы продолжаем считать, что жить по высшей нравственности значит жить для всех. Жить по разуму для европейца, сводится к жизни для себя, для внятного и требовательного я. Мы дичаем в беготне за правдой для правды, не осенённой красотой. В них же воспитывается красота, без благословения правды.

На каждой стороне есть доля звездочётства и доля оземья. Полёт человека распознаётся по отданности мечте-лжи, по следованию делу-истине - его поступь. Мы, русские, перелетуны и тяжкоступы. Европейцы - первоходцы и оседлые крылья.

Мне чужда Русь своей подгнётной ложью и чужд Запад своей без усилия дающейся правдой. Мне близок Запад своими чудородными,

мятежными лжами и близка Русь своей кротостью перед дивной и ненавязчивой правдой, стоящей в глазах души.

На Востоке ухитряются держаться на равном расстоянии от всякой правды-неправды. На Западе только и делают что жмутся к эпицентру наших чувств и взглядов. Мы же отдаёмся мысли или волнению, где бы они ни зарождались, вовне нас или в нас самих.

На Востоке ищут замирания времени. На Западе оно истекает мерно и равнозначно, звеньями неразгадываемой цепи. У нас каждый норовит то ускорить, то замедлить его бег, чтобы схватывалось полное дыхание или ... пустое воображение. Мы хотим иметь личное исчисление времён, не связанное с сиюминутьем и не хотим насыщать минуту сегодняшнюю.

Но если русскому и не по нраву отлаживать из жизни некое очередное звено, восполняя число, это не мешает ему топтаться на месте или, в лучшем случае, метаться по замкнутому, беличьему кругу. Разворачивающиеся спирали - не для нас.

Но на Востоке, отстранённое *я* стынет, веря, что обнимает бесконечность, на Западе, сконцентрированное *я* излучается по множеству тех направлений, которые не смещают точку опоры, центра приземлённой тяжести. А наше *я* самозабвенно сливается со всем, чему дано обогреть или обогреться.

Европеец бедствует в беде, радуется в удаче. В горе ли, в радости ли - азиат хотел бы уравнивать жизненное чувство. Русский же, от избыточного счастья заходится тоской, а в кричащем бедствии бесшабашен и шлётся на *авоси*.

Мы становимся самими собой только в крайностях.

В безнадрывные часы истории, в благовремение, мы мягче, европейцы садче. Пока жизнь не подбирается к нашим

сокровенностям, мы ко всему лишь *тепловатому* подходим украдкой, а они - с хваткой. В часы перемирий мы не умеем развить в себе полнокровия, а в стычках истекаем кровью до изнеможения, хватываясь шапки, когда не станет головы. Это у них только бывает: очистительное кровопускание и благоиспользуемые передышки. Наши войны затопляют нас несчастьем, но мир не осчастлиливает никого.

У нас, чем шире отверзаешь глаза, тем решительнее опадаешь в самого себя, у них - тем цепче приковываешься к безликому общежитию. И не только путеводная, наставительная ложь вокруг нас или их стабуниванная правдишка тому причиной, есть в этом и что-то от хозяев жизни и, соответственно, подённых мечтателей.

Всё наше зло само собой лезет в глаза: наше дрянцо оголено, но мелко, наши достоинства потаённые и глубинные. Мне думается, что на Западе всё наоборот, или вернее, по средствам и приметности зло и добро там говорят на общем языке. У нас же они друг с другом попросту не знают: одному стыдно гласности, а другому - скрытности. Бог и дьявол, говорят европейцы, обещают одно и то же, и всё дело лишь в высоте призывов. Для них, добро - это глупость умных, а зло - ум глупых, а для нас и то и другое - безумие всякой совести.

Чтобы покончить с этим многозагвоздчатым толком, превосходнейшая моя Анастасия, скажу напрямик, что мнится мне, что русский народ - последняя надежда и последний резерв лиризма на Земле, с его самой мощной струёй — христианством.

А может быть, и наоборот, русская идея это никакое не зелье, а просто чаша: тот, кто не перебродил в ней сам и не хлебнул с ней лиха, тот, в ком ничто не сжимается, при её приближении, от не цедится, не кровоточит при её приближении, тот скажет, что она пуста и будет, пожалуй, прав. И совсем-то немногим доводится бражничать с

нею и выхмелять в её виночерпиях свою потерянную память или нашедшуюся забыть...

Ни из чего мы не выносим нашу идею, ни во что не вносим, ни на чём не несём. Мы ею живём, как дышат воздухом, что так схож с пустотой. Наша идея проносится через природу и дух, и угасни она, это приметят лишь считанные прозорливцы, а уж загорюют оттого и подавно единицы, из нашей интеллигенции.

А интеллигенции, в нашем, русском смысле, нигде, кроме России, нет, потому что до высоких помыслов чаще доходят умы сильные, а они развращены, на Западе - благоденствием, на Востоке - привилегиями. В обществах, нацеленных на сугубо потребительскую, злободневную отдачу, всякая прикладная сила, в том числе ум, поощряется, а там, где благосклонность судьбы, там и серость в душе. Хвала - первая порча, и правда тонет, когда всплывает золото. Перед русским же обществом всегда маячили или отвержение, или перелом, или бред, или утопия. Какой-нибудь злопыхатель тут шепнул бы мне, что просто русскому интеллигенту всегда было где разбежаться, весь скоп остолопов - простор. А я отвечу, и как всегда, обиняками : в людях всегда теснота, простор только у бога.

Мы только и занимаемся, что загоняем в область невозможного всего, что вопиюще возможно, история всего остального человечества - перенос в обратном направлении. Но в нас нет жуткой пропасти между нравственностью и духовностью, как у них, нам даётся и азиатская безосновательность и европейская доскональность.

Физиономия племени встаёт из сочетания этих двух оттеночностей : с одной стороны - добро и зло, хорошо и плохо, можно и нельзя, а с другой - состояние культур, вещной и умственной. С одной стороны строятся идеалы, с другой - нормы. И те и другие - это

границы между возможным и невозможным, границы, проницаемые, обычно, лишь в одну сторону.

III. Октябрь

Если в первом своём письме я и переборщил что-то в разграфленьях, межах и рубежах, то где-то здесь, ближе к подножью, завелись препоны высоченные, не под силу вашим письмам. Но упустят же они однажды то ли слово, то ли оклик ваш, а то и вашу славящую улыбку.

Так я твердил вам о хромоножем строе моей жизни, об отвращении от злобы дня. Отчасти это идёт от русской обращённости (в жизнеустройстве, а не в любомудрии) к началам жизни (то-есть, кто я ? что значит быть лучше, сильнее ? что я в этой природе, в этих веке и крае ?) и к её заключению (чем исчисляется итог ? что осмысляет труд ? что может утешить, унять ?).

Быть людьми изначально и Страшного Суда значит не держатся подвигов и трудов, если они ни стихией души не вдохновлены, ни к завершению времён не обращены. То-есть ни богу свеча, ни чёрту ожог. Наша душа - во временной, а не в пространственной размерности : оттого у нас мало домостроителей и героев, а есть подвижники и художники.

Из четырёх национальных складов, гармонического, героического, аскетического и мессианского, нам ближе всего последний. До созвучия с миром не допускает совесть, господствовать над миром не даёт виноватость, уход от мира ожесточает лучшее, что есть в нас, задушевность, - остаётся искать лишь освящения мира.

Мы шире, это несомненно. В нас уживаются черты, заполняющие целые полосы : от растяпия до могучей воли - и у нас нет характеров, а есть спячки и страсти. От худа до блага - и у нас нет писаной нравственности, а есть предчувствия. От неотёсанности до изощрённости - и у нас нет блеска, а есть мешкотня неяркости и вспышек. От лапотности до мастерства - и у нас нет школ, а есть

храмы. От безвинности до виноватости - и улики и алиби переплетены в нас так безнадежно, что разнять их можно лишь полосуя по живому мясу.

К слову сказать, я не говорю, мой народ лучше, но присматриваясь к нему, находишь столько места довоображению и домыслению, тогда как в других чаще всего не уходишь дальше констатации и сравнения, нередко, между прочим, совсем даже не в нашу пользу. Говоря о них, судишь серединой, с русскими невозможно удержаться от крайней увлечённости, в сторону поношения ли или возношения.

Их я - это то, что они заученно и последовательно говорят и делают. Наше первоявляется всякий раз, как мы открываем рот или поднимаем руку. Они - актёры своей бытописной жизни : мы - зрители самих себя. Они бойко разыгрывают жизнь, а мы самозабвенно силится её обыграть или освистать.

Все встречи для нас - сшибки и несообщаемость. Наше я растёт отрицанием другого. Их контакты - это испытание обрядовых, предохранительных пружин, обоюдопонимание и взаимопроникновение.

Их жизнь, в главных чертах, - это именно то, чего они хотели, а наша платалась вкось и врознь, по велению сил, чью сущность и подоплёку нас не угоразживало ни раскусить, ни упредить. То бессмысленная и непоследовательная история, то мифотворческое и взыскующее сознание, но и то и другое поощряло гадательный, наощупный, будь-что-будний подход к жизни.

Вековечные злополучия настигают нас как-то беспричинно, как бы по гонору щекотолобивой судьбы. Вот и хочется россиянину подразнить, в свой черёд, непокладистый рок или плюнуть на всякое его упреждение. В этом весь русский *авось* и *воля ваша, доля наша*.

За необъятностью пространства, климата и ярём у нас не было чувства своего, явственно означенного места. В этом безбрежии сколько ни вводи черт прописочной, ремесленной или сердечной оседлости, кочевьего настроения не убежишь. Выше ли это хозяйской возни европейца в узко очерченном огороде ? Во всяком случае, нами это не вытружено, а привходяще, и за всем августейший случай, разве что кроме ярём. Небоська вывезти вывезет, да незнамо куда.

Говорят, мы потеряли пульс истории : некая паучья память растлеват нашу пытливость, и мы мним себя средоточием, первоотсчётной вехой, без нужды в прошлом и с убаюкивающе расплывчатым будущим. Из-за той же плохой памяти в нас так и не встаёт предостерегающий образ зла, но зато и находит приют незлопамятство. Ради повторных иллюзий первооткрытия мы без сожаления забываем любую новь, ставшую, среди иных, правилом.

Жизнь - это судилище. Нам никак не сталкивалось с нашими защитниками. Отчего-то мы видим в них кругопоручных пособников тех, кто призван пытать и карать, а не допытываться беспристрастной истины. Перед судьями мы почему-то конфузимся, ломаемся и лжём, а между тем не содеяли ничего предосудительного. Европейцы же веско, словоохотливо, сплеча выкладывают свои домогательства. Да и водись за ними непотребная мыслишка или неприглядное дельце, это, по их расчёту, не относится к распорядку *жизнеразбирательства* и их не смущает. Для них, оправдание - духовная реальность и даётся всяко-просто, и дело лишь за возмещением за причинённое беспокойство. А мы малодушно и как-то помиму тянем и тянем волынку, без конца оттягивая час приговора, и только изводим себя самоизобличениями.

Мы постоянно чуем неукротимое совращение ко злу, то ли надуманному, то ли истинному, и оттого всегда готовы к самоговору или к искуплению.

IV. Октябрь

Ваше молчание пока не сушит руки и не накладывает печати на уста, разошедшиеся ни на шутку. Но не какому-то интуристскому слуху я вверяюсь, а чему-то близкому, что бы ни твердили поколения, прожиточные минимумы и характеры собственности на средства производства и ... связи.

Как видите, я прикрываюсь Россией, но вы, конечно, различаете и меня в этом щелкопёрничанье. Я б готов был и вышибить эту дурь — верность стану - только бы в образовавшееся зевание брызнулось чем-то не слишком скоротечным, истиша распалительным и доглубока растранным. Личины, иносказания и недосказания были меж нами и в Москве, этой осенью, но как бесхитростно они разгадывались ! Но всё же, не помутясь, и море не устанется.

Я до сих пор ничего путного ни у чего и не выговорил, ни у чего не расспросил пути, и, по правде сказать, мне по душе там, куда меня занесло. И за скудогласие прошедших горлом и пером слов мне сторицей воздаётся полногласием того, что творится в сердце. Но примемся ещё раз за выговоримое.

Счастлирое русское свойство - не видеть зла во зле ! Не уметь разглядеть добра в добре - это проклятие европейца. В природе человека так легко сочетаются самодовольство со скулежом, а самоунижение с нежеланием иного жребия. В них такая бездна ропщания, среди нас - такая уйма непрекословия и благодушества. А вот бы всё наоборот - как бы это пришлось кстати злоимному русскому стаду и невинчивому европейскому одиночке ! Пока же по мне хороши европейская скопность и русский пропащий человек.

Нас мытарит бытиём и быльём, их соблазняет былью и бытом, в этом всё. И пресловутая потребность страдания и самоосуждения, как

знать, есть лишь такая же лопотная благоглупость, как и их потребность в потребительстве.

И всё же меня подмывает выгородить росса. (Своя сермяжка никому не тяжка !) Ведь нами помыкает тот тип приневоля, с которым не сутяжничают : оно - обиходное, переможное, какое-то окраинное зло, вне средоточий наших личных помыслов. Противиться этому злу - понятное искушение, но затея эта не может быть ничем иным, кроме зла же.

Да, благостью чужого лиха не изоймёшь, но лихостью лишь избудешь своё благо. (Не изводи лихого, приберёт бог любова !)

Это долготерпение, несчитание очами и зубами, зуботычинами и заглазьями, это отдёргиванье своей соблазняющей руки не есть ли знак немалой внутренней свободы' Не хитро жить издеваючись, хитро жить измогаючись.

Удел большой личности - невпутанность в механический ход истории. Самоустранимость из её перебранок и её соблазнов. И если они, безусловно, не смогли бы остаться самими собой в нашей кабале, то вот мы-то, без особой ломки, встретили бы их приволие или ... ещё худшее безвремение.

Мы говорим об опрощении без воздаяния, о благодати без закона, о прощении без гнева - ни злomu кары, ни добромu хвалы - это так не ко времени в этом мире, порешившем ничего не терять непродуктивно, не убытчиться.

Мы вымучили право рассуждать о страдании, но о высоком здоровье говорить пристало лишь полнокровным и безболезненным языкам. Да и впрямь, может ли придти здоровье от народа, заражённого сатанинством ! Мы - отоймыши, мы не всосали всей предначертанной череды родных соков и принимаем тягость досрочного разрешения за задушевную, повивальную тоску по лону.

Всякое болезненное развержение ложесен порождает отсебятинный мир в человеке, всякое здоровое - бесспорного человека в мире. И почвенничество присуще подражателям, творцы же отталкиваются от своей земли, в обоих смыслах этого слова.

Мы и до нынешней невидали докатились путём страдания, когда стало неумоготу, а не прельстились ею как заступником и выразителем нашей завистливости, как у иных. Зависть, конечно, от сердца, и хоть благоразумие и тянет нас вправо, в делах общеустройства сердце всегда слева. Только бы душе-то не след ввязываться в эти прения и становиться, вызывающе, по одну сторону.

Ведь внешняя свобода, что бы там ни говорили, даётся, а не завоёвывается, и постоять достойно можно лишь за свободу внутреннюю. Нам, когда-то, удалось вкусить вполсыта внешней воли, и ничего-то кроме душевного обезличения она нам не пообещала. А для нас нет ничего важнее ничем не заменимой близости с нашим я, в деле, в слове, в молчании. К тому же неусыпный инстинкт самосохранения у человека живей при спячке народа, а судороги многоликого страха упасают от паралича единообразия.

На Западе стадо влияет прежде всего на подкожие человека, у нас - на надкожие. А поскольку стадные око и десница всюду делаются всё назойливее, то ждать нам ещё худших лихолетий, а им - ещё большего сходства с несбивающейся машиной.

Стадное общение - это лекарство от *правдоискательства*. И оно бесполезно как крепышам-здоровякам, хранителям сегодняшней правды, так и безнадежно больным смертникам, поймышам ускользающих верований.

На тусклых стадных перепутьях, исполосовавших, избороздивших наше время, больше не встретишь ни непроезжего разочарования, ни безрытвинной иронии, ни беспощинного проклятия. Всё вокруг

сякнет в истребительной прозе и пухнет от подножного пичкания, как не невзвидеть света, как не предаться полутьме ! Но затвердим ещё и ещё : не сквернить света души в непроглядном одонье бытоустройства.

Я заговорил о своём собственном неладе. Всё внутри невдогад и вовне - невтерпь. В тебе - глухое и зыбкое единоборство, вне тебя - равнодушное взнуздывание, стабунивание, высворивание. Питомцу высших ячеств - как затереться в их ясельное вашество ! Что проку, что ты порожен, порист, прост. С твоей неуместной печалью всё-то вокруг - мешканье, шиканье, трын-трава. Будто и нет вокруг совсем чужих, а вот своих-то нет наверное.

Как-то это сорвалось у меня : с российских излучений да в свои потёмки. Этот сковор, впрочем, вам должен быть понятнее всего заковыристого вяканья о племенах и веках.

Тёртый гордец, я знаю, что простотой рубцуются закожные раны. Но для умных простота - юродство, для глупых - немочь. И тем и другим не до меня, а мне дрянно, донельзя.

Почему среди толпы, не вызывающей зависти, всё же канючиться и не уметь унять колоти одиночества ? Почему стыдиться, порой, благоприобретённой волшбы мечтаний и приценяться к даровщине суемудрия ? Почему шельмоваться в расточительном самокопании, но не находить сил, чтобы ввязаться в доходное домостроительство ?

Но всюду приходится не ко двору, оказываться на отшибе, ни на ком не запечатлеть своего тепла, ни в ком не пробудить даже пустячной привязанности, ни кем не быть тронуту до улыбки или слезы, ни чем не утвердить своего видения - ишь как вещее взныло, накатил стих !

Испытать, вообразить, передать - три приложения чуткости, и лучший результат - это несказанное чувство, беспочвенная фантазия, творческое слово, то-есть, в каждом, по определению, - подлог, ложь.

Простите мне эти некололичности. Скажем друг Другу, что виной тому вот этот разошедшийся ветер, которому обрыдло бить баклуши в пустых подворотнях, застрехах и стогнах - выхолодить чью-то зазевавшуюся и изза-ноженную жизнь милей. Вот она, сквалыжная и ликующая Москва, и моему колченогому чувству здесь делать нечего.

V. Ноябрь

Вы всё ещё здесь, Анастасия, память до вас доглядывается, ум докапывается, сердце дослушивается. Не переливаньем из пустое в порожнее я занимаюсь, без ответа вашего, а лепкой некоей чаши, для которой возлиянья и излиянья - не лучшее из употреблений.

Но скитничья эта отрешённость мне порядком натёрла глаза, я бы, порой, и схватился за окопную решительность. Ведь не числом рождается стадный дух, он может витать и над отшельником, как аристократизм и единичность - ужиться среди множества взаимнопроимчивых душ.

Да и вообще красоваться одиночеством не стоит. Необитаемый остров свободолюбивой души столь же безрадостный и гибельный исход, что и забитый трюм галерного разума. Выше них - страсть и гений.

Гений - это предчувствие свободы в неохватной пучине рабства. Страсть - это предпочтение рабства перед лицом мелкой свободы. А неудавшихся гениев и неудавшиеся страсти так и именуют : гениальное безумие, безумная страсть.

Страсть - это нечаянная радость, необъяснимый свет. Страсть ваятеля накладывает новые светотени на его модель, придавая ей новую объёмность. Но страсть созерцателя высвечивает в нём самом ещё один закуток души, боящийся суда и света : хорошее в тебе обедневает и преснеет в суетливых лучах, а плохое страшится воздаяния.

Страсть значит прилепиться к чему-то, отмахиваясь от доводов ходячей необходимости. К чему бы ни пристрастился творец, с него хватит внешнего запечатления страсти. Спелёнутым же рукам нужен отблеск страсти на их взыскующей коже. Распознавать и любить свет,

не падающий на тебя, - до этого доходят только сильным рассудком или слабым чувством.

Творчество мне, по-видимому, заказано. Волнение моего взгляда занимается в издёрганной голове, а не в волнующем его предмете, что только и может сообщить образу естественность и достоверность. Не идёт свет вовне, а которая искра не упала, та не ожгла...

Мне не с руки валандаться с холопьем наблюдений, а по себе лишь в высшем свете наития, где хозяйничающее слово и настроение умеют пропускать мимо ушей всякое забарматывание приглашённых, оглашённых мыслей. Не слагателем быть, сказителем ! И выходят корчи там, где сошло бы и самое захудалое естество. Паралич там, где бы шелохнуться изыску искусства. Бессмысленные преткновения там, где незачем бы пойти на поводу у здравомыслия.

Зиждитель умеет обратить в пользу и страсти-приливы и отливы-разочарования, и ими-то и движется механизм творчества. Бесплодного созерцателя прилив накрывает с головой, а отлив выносит из сердца всякое желание волн и валов. А тут ещё это суеверие, что зачисление в цех творения означает смену времён жизни : чтобы плодоносить, надо расстаться со цветением.

Эх, знать бы, какие скважины ведут в твою внутреннюю золотую жилу ! Ах, извлечь бы из неё какой-то груз, пусть и не обратимый ни в какие земные единицы-ценности ! О, пробиться лёгкими к отдушине для тебя самого убедительного творчества !...

Итак, не прельщаться одиночеством, не прятаться за его лженепогрешимость, но твердить всечасно, что поражение подстерегает равновероятно и в логовищах и в стойбищах. Не думай, что заметя следы перед своей берлогой, ты отгородился от вторжений тщеславия и суеты. Ты столь же уязвим, сколь и сбивщик стай, подбивающий всякое перекатное явление скоротать с ним зиму тре-

воги нашей. И в изъёмыше, как и в последней нерозни, кишат заимословия и подголосия. Ещё один повод забыть о пересчёте и приняться за взвешивание и переоценку. И всё же в одиночестве ты пожираешь себя сам, в толпе тебя пожрали бы другие...

Написать книгу для одиноких или аристократов духа, книгу, в которой бы соединились немецкая возвышенность, французский стиль, английская ирония и русское естество ! Не стыдиться брать взаймы то, что лишь развивает твою дароносность. Не разучаться говорить, обращаться к самому себе, не рассчитывая, что о тебе растрезвонит молва. Или думать лишь о глазах, увлечённых нитью твоего взгляда. Для этих глаз, твои перлы не растеряют свою красоту, если ты совсем не станешь прокладывать их, якобы для полноты, стекляшками доказательности и повествования. Не вязнуть в междусловиях и предисловиях, а выкладывать завершающее слово, как бы болезненно оно ни было по содержанию и противопоказано по форме.

У книги два лица : личина - форма-красота и лик - содержание-чувственность. Чем жизненнее искусство, то-есть красота, тем безразличней, сами по себе, становятся мысли, над которыми эта красота возводится. Но чем замечательнее мысль, тем требовательнее спрос к облакающему её художеству. Но высокая форма может облагородить различное содержание, тогда как высокого содержания, очевидно, не достаточно, чтобы возвеличить форму.

В литературе не должно бы быть литературы, как не должно быть жизнеописания в жизни или балласта доводов в безустойном грузе веры. Пиша, надо подольше засиживаться над вопросами, как бы ни зазывали быстроногие и краткоутешные ответы. В жизни надо, ничего не ища, уметь дышать находками. Наконец, уму стоит предаваться поискам, заранее отрёкшись от окончательного их разрешения. Впрочем, всё это подходит только к эпохам, надмящимся

заготовленными впрок ответами. Когда эпоха заваливает вопросами, материал художнику даётся в ответах. Когда эпоха нема, естественнее уйти в самоослушание.

Но мы перекликаемся не только с настоящим. В диалоге с настоящим рождается вкус, в диалоге с прошлым - смысл времени, в диалоге с будущим - мировоззрение. Мировоззрение и смысл времени - это выдуманные разумом душевные путы, от которых каждый свободный человек время от времени высвобождается, хотя по инерции приличий и репутации редко в этом признаётся. Вкус же - это тех же начал вещь, что и самородность, и вера, и красота.

Хороший вкус - это такое облачение формой, при котором чувствуется нагота охорашиваемой свободы. То-есть вкус чуть ли не противоположен творчеству, поскольку он против отвердения, а творчество - это притворство и свободным быть не может. Творить со вкусом значит, быть в наследуемом, переходящем духе времени - культуре, а не в прожигаемой, преходящей плоти времени - цивилизации. Мы чаще тягаемся с рабски осязаемой плотью, чем общаемся со свободно витающим духом. Унавожению истории доводится лишь копошиться в сужающей, посюсторонней цивилизации.

Всё мелко и прозаично, что исходит от цивилизации, и только в возвышении над нею или в уходе от неё можно уловить иронию и поэзию. Но она натравливает на нас известный смысл времени, с которым сталкиваются и жестоковейные сатрапы и сердобольные смиренники, сознающие свои мотивы. А во мне все подспоря надтреснуты, во мне никогда не оказывается ответчика-целестремленности, а понытчик-цель допущен к самым припирающим уликам.

Как только я принимаюсь чернить себя, то обличительные персты тычут со всех сторон, не встречая отпора. Лучше мне вернуться к тем подмосткам, где лицедейство даётся бесхитростней и безболезненней. Но это в следующем письме.

VI. Ноябрь

Вдоволь проплутав в дебрях самой неспешной в мире почты, твоё письмо вот оно уже утяжелённое гроздьями вскинутых вопросительно бровей и хмельных восклицаний. И не по времени года, как будто, да и крепости не вычитать на зельном, душмяном твоём письме. Заздравницы не проходят горлом и сворачиваются в заковычный комок. А пирыне-глаза неумолчны, хоть и безгласы.

Слова между нами пока не укрощены. Падки то на сковыры, то на взмывы. Им не даётся середина, вот они и то заносятся царедворством, то заходятся чернобыльём. В них бесчинствует кривотолк и наигрыш : ни былинного русского распева, ни трубадурной провансальской вязи. Уж очень мы не знаем друг друга, а злополучные слова так изузнаны, так вопиющи.

Твоё существование за почтовым ящиком - это дрожащий путеводный огонёк моего пера. Не заметаться бы некстати, не сбить пламени, не размыть чистого света чересчур пристальным прищуром. Когда в *завтра* располагается хрупкость, из *вчера* выселенная память злорадно сулит слоновьи спотыканья и преткновенья. Укороти нам память, боже...

Как тебе известно, Франция от нас дальше полюсов Земли и однопартийных затридевятъземелий, и это добавляет твоей невещности. Пространство усыплено, и среди его краткосрочных снов являются наши лунатичные письма. Так оттягивается час пробуждения, а дышать распорядком действий и бдением предоставим идущим за нами... Ах, как славно тебе заговорилось о маревах, о ворожбах !

Увиденная издали, всякая жизнь - душераздираение или непостижимость : жизнь на переднем плане - пошлость или

безвопросье. В этой неприручливой, неприщущейся жизни, мы, русские, ищем себя вне перспектив её полотна. Оттого мы так далеки от неё. Проникшись, на картине, ничтожеством нашего мазка, мы предаёмся разладу и самобичеванию и презираем жизнь : а совсем не разглядев себя, впадаем в блуждания, потерянность, прибитость. Это серое *подполье* или *пещера* теней. Во всех случаях нам неведомы самодовольство и нахрапистость, эти привычки смотреть на жизнь в упор, лицом к лицу.

Нет людей, столь же проимчивых сомнению, сколь и самозабвенно отдающихся верованию, столь же заражённых непокоем, сколь и недвижимым созерцанием. И во всех случаях - это уход : уход преджизненный - самокопание и вслушивание, или уход предсмертный - иночество и творчество. Самодовление перед самодовольством всего остального : задушевность перед обездушиванием.

Этот постоянный уход мешает уловлению отзывов. Писать же письма значит, отчасти, впиваться, клевать на свою собственную наживку, изливая желчь или бальзам, мёд или яд. А писать тебе, першёптываться с тобой, к тому же так самопроизвольно и первоотсчётно, как настоящее творение, которое выше всякого вытекания, подстраивания. Уметь вовремя почувствовать, что дальнейшее лишь дление : уметь остановиться, замереть, не сокрушаться и не обороняться - так сжигают крылья, ставшие бесполезными, и не волочат их среди бескрылых, так сжигают рукописи, когда померк их одушевитель, так сжигают себя, если всё извне лишь тепловатость.

Так шепчут о возможности верить и любить. Лишь умеющим длить любится вера, лишь умеющим жертвовать верится в любовь.

VII. Декабрь

Неровности Земли по-прежнему велики, пустыня действительности между нами стала, пожалуй, ещё неоглядней, так что продолжаю отправлять письма караванами. Чтобы не теряли друг друга из виду, чтобы не застряли среди избоистых миражей. Ничего торного впереди, а непростая поклажа говорит не об экскурсиях, а о паломничествах. Во всяком случае, чувствую я себя пока заезженцем, да и в свою сторону словно дорога запала.

Ты сама увидела : по привязанностям мы ближе азиатам, хотя и ближе европейцам по одарённости. Ближе азиатам по опрощению и ближе европейцам по любознательности. Нашей чуткости доступна деловая натуга, а нашему воображению внятны и душевные червоточинки.

Чуткость умилосердит, и ты приветитишь и призришь жаждущего и нищего. Воображение образумит и перемудрит, и ты воскуришь крючкотворным *нищему* духом и *жаждущему* правды.

Воображение и чуткость переплетаются в жизни, как и ваяние с восхищением, напористость с податливостью, мужественность с женственностью, целостность с дроблением. То же самое и в искусстве. Только Запад всегда норовил разъять его с жизнью и обойтись при этом только первой способностью. Мы же прослыли за подражателей, мистиков, непротивленцев и восприимцев.

Их искусство чище, но и безжизненней, а их жизнь прозрачней, но и искусственней. Их чарует игра идей -красота, слаженность : нас озадачивает идея игры - стихия, жизнеохват. История философии и философия истории. Я замечу только, что участвующие в игре кончают, обычно, тем, что задумываются о правилах игры чаще, чем о самом закладе.

Зачастую, плодом искусства чистого сладобишься с большим восторгом, чем плодом, завязавшим на жизни, но в человеке-древо я всё же ставлю чуткость-корни выше воображения-цвета.

На Востоке, как и на Западе, искусство не снисходит до служения жизни, но на Западе воображение без чуткости размножило бездушных рассудочников, а на Востоке чуткость без воображения произрастила безрассудных лежебок. Но и у тех и у других есть последовательность или стройность. Мы же порожаем каких-то отродий да исчадий, в которых калечатся, сбиваясь, общечеловеческие черты, черты, никогда не запечатлевающиеся с правдоподобием в одном-единственном человеке.

Французы - преемники Древних, и их детища нередко ничем не напоминают мук и радостей своего создателя, хотя могут его же и превзойти и затмить. Немцы славятся безупречными слепками их обмирающей души, но для пресловутой убедительности они привлекают полчища повествовательного, подручного хлама. Англичанин весом и многозначим, и в слабости и в силе, но за толщей иносказания и стыдливости не отличишь кровотока от простого ушиба.

В нас все они видят мужиков или янычар, и этой *отрыжкой непонимания* всегда славилось наше усваивание европейства. Это мы видим во французах не только лавочников и повес, в немцах - не только работяг и послушников, в англичанах - не только лицемеров и прощелыг.

В снежной Москве, я вспоминаю тебя по-русски, сердечно и грустно, как только и умеет помнить светлое русский. Как бы ты ни принимала моих разношёрстных посланцев, в моём безмаревом закуте уже образовался какой-то выход. Этим сдвигом вне пустынь я обязан твоему письму, хоть и пришедшему из самых умеренных климатов.

Наверное ещё и потому, что наши взгляды упали случайно на одну и ту же диковинку, которая, конечно, была лишь маревом.

VIII. Декабрь

Твоё письмо проскиталось долгие недели. А слова нашли, тут же, кратчайший путь к адресату, тому самому, выпитывателю и пожирателю.

Твоя недостижимость клонит к всяческим суевериям и чёрным магиям. Так, в алхимии ожидания я думаю извлечь чистое золото радости из сорного свинца терпения. А тут ещё ты сулишь мне золотиносную россыпь в Москве, в июле, без волхований и чернокнижничеств, без пряморечия этой осени и увёртливости первой зимы. Чтобы обратить в жизнь фальшивомонетчицу-поэзию и так рассчитаться с держащим нас в заложниках повседневно, - жду тебя, чародейка ли ты или жрица...

Ты пристрастнее моего заговорила о пристрастности русских к поэзии и ... цветам. Пусть большинство и возится в бытийных огородах, причём без тевтонской методичности и галльского артистизма, но русский поэт - вроде тех эдельвейсов, что принимаются лишь на почве, не пригодной для доходного и захватывающего садоводства, по ту сторону всех умеренных климатов. Пересадки почвы с долом для него смертельны, отторжение сказывается немилосердно. Домашние мысли в дорогу не годятся...

Поэт тот, кому не даны корни. Он та каменистая почва, на которой возможны лишь неожиданные и уязвимые цветения. Случайно падшие в неё зёрна не доживут до осени, да и изо всех времён года она ценит лишь весну - за зачатие, и осень - за умирание.

Есть поэты от века, чующие своё призвание, и поэты, обречённые самонезнанию, те, которым не даётся вескость, как бы тяжело им ни было, парение, даже когда оперены крылья, шаг, даже

восстанавливающий равновесие. Творец воссоздаст вселенную из ничтожества, прозябатель и вселенную низведёт до ничтожества.

Те, у кого спокойна совесть, не увлажнены глаза или застолблён насест, довольствуются злобой шла дня. Той самой, что либо сбивает их в сообщнические стада, либо разбивает на враждующие стаи. На Западе почитается неуклонительной замешанность в сбродной колотьбе. Там обобществлены шкалы ценностей и обособлены души. У нас, в России, наоборот.

На Западе уважают человека, нормализуют человечность и оземляют человечество. У нас творят кумира из человечества, ищут человечности, презирают человека. У нас считается, что чем цепче мы хватаемся за человечество, тем жесточе отталкиваем человека, и наоборот. Свести концы с концами пытается вера, но сила её скажется лишь постольку, поскольку зародышевая любовь уже свила себе гнездо в сердце человека. Высиживать же, возвращать любовь - это обучать глухого реакциям на благозвучие.

Ты говоришь : нести людям свет. Но, по мне, либо жалкий наш нравоучительный фонарь ничего не высветит в беспросветных потёмках бездушия, либо явится посмешищем перед светозарностью чьей-то большой души. Надо не делать добро, а быть добрым, не светить, а быть чистым...

Щедриться или прижимничать, помогать или довольствоваться - это малозначащий, сам по себе, выбор, всё заключено лишь в глубине мотивов. Этой заковыкой, среди прочего, и размякала моя воля. По жизнеутверждающим вопросам у меня нет никакого мнения, я не в состоянии *занять позицию*. Принимать или отвергать, строить или наблюдать, объяснять или удивляться, наращивать или творить - я прошёл по этим развилкам взгляда на жизнь, и за каждым распутием - та же малоубедительность. А как во внешних пересудах принятие вся

и всех - вернейшее средство расплодить недоброжелателей, так и допущение всякого душевного выбора ожесточает раздор с нашим неразлучным, неделимым и, увы, так часто не знаемым я.

Если сделать ещё один шаг в сторону, даже за мотивы, то выбор встанет между *иметь* и *быть*. Слепец сводит бытие к обладанию, прозревающий отслаивает то, чем владеет внешне, во внутреннее бытие. Отчаяние слепца - от неимения, отчаяние заслуженных глаз - от небытия. Быльём, безусловно, всё порастает, именем же - глушится.

При безвопросье внутреннего мира, в загороженности от отправных точек жизни, так завидно бывает это просторусское остолопье великолепие, когда всё-то нам нипочём, вестимо и растяжимо. Где нет доли, тут и счастье невелико. Тогда и отчаиваемся мы сослепу, а от сокрушений наших до размирения - рукой подать, душой не тратясь. Но чем больше ответов наслушается ум, тем больше он ценит само задавание вопросов. Чем вопиющее воочие жизни, тем неизречённее окоём мечты.

Я оставляю тебя, загоризонтная, неоглядная моя Анастасия. Чтобы коснуться тебя, нужно что-то, проникновеннее мечты, гибче слова, длиннее терпения.

IX. Декабрь

Ещё один полноводный вечер готов впасть омутовым словоизвержением в прихотливые повороты и обороты моего с тобой ауканья. Берега и горизонты то сходятся, то разбегаются : по-над дном, да и у самого источника, наносится столько камней преткновения, а тут ещё скрытые ключи принимаются бить свежо и тревожно.

Как плохой писака, в неладах со вкусом, а, вернее, как путник, которому звезда важней маршрутов, вех и скоростей, я разматываю давшийся в руки, почти случайный клубок слов. Почему-то эти нити потянулись из географии. Ни с того, ни с сего, её вознесло до вступительных экзаменов на аллегорический факультет. Иные факультеты, то-бишь способности, да при том из самых что ни есть естественных, пока не доступны по заочному отделению, по переписке. И может статься, мы ещё примемся и за математику лжи, и за историю смирения, и за антропологию отчаяния, и за астрономию иронии, и за химию боли. Пока же - география. Пока же звезда может даваться только взгляду, и никак - крыльям.

Перво-наперво - Глобус. В середине - Океан, с необъятным Материком вокруг. На Материке земляне грызутся за каждый клочок почвы под слепящим и слепым Солнцем. Океан захлестнут одиночеством. В нём тонет всякий, отчавивший от побережий чересчур бесповоротно.

Океан жив лишь влагой, несомой Реками : но из их слияния встаёт ещё больше одиночества. И чудо, когда течением восторга Речные струи достигают необитаемого Острова ! Лишь близ Него можно погрузиться в пучину Океана, зная, что тем обретёшь новое дыхание, там, у самого дна.

Чтобы добраться до Островов, нужно пересечь многие края Материка, наливаясь размахом и волей, или же быть отверженным, вышвырнутым вон с Материка, ибо Острова не сулят ни менного Добра, ни ископаемого богатства.

Говорят, можно напасть на Остров, следуя звёздам путеводным, впрочем, в той вселенной иных светил и нет. В этом преимущество тех, чьё происхождение занебесно, тех, кто знает, что ничто так не утоляет незнания, боли и жажды, как пища небесная.

Но сколько рек иссыхает в огромных пустынях, сколько Рек лишь орошают огороды материковствующих. И эти жалкие, отчаявшиеся океанцы, бурлачащие против течения Рек, чтобы, в итоге, сложить всё свою соль в каком-нибудь скверном болоте, в глубине Материка !

Условные знаки этого Глобуса начертаны по-океански. Нездешние письма не разгадать не удаётся. Их расшифровщикам не хватало то знания, то терпения, то мудрости, но самое главное - они утаивали свои лучшие открытия, чтобы упиваться ими наедине. Один из них прочёл, что Материк - это жизнь, Океан - любовь, Реки - женственность, Острова — поэзия.

Материковая подоплёка вещей совершенствуется со вживанием в них всё более правдоподобной лжи, океанская - с отмиранием побегов ложнодоступной истины. Материк - это ботанический сад, в котором акклиматизируется всё более противная природе ложь. И всякий обитатель должен выбирать между пособничеством душекрепительной лжи и примыканием к пагубной истине Океана. Всякий жизнеспасительный маршрут прочерчен на Материке, но в Океане лишь разрывы молний высвечивают на мгновение приближение или удаление рока.

На Материке взыскуют света внешнего, который выблищает желание ненасытного потребления жизни. В Океане страшатся, как бы

этот свет не раздвинул ещё больше пустоту вокруг нас и не обозначил бы нестерпимо чётко границы души - им желаннее оставаться душой всего, что непрозрачно. Но всё же счастливы те, кто умеет из внешнего напряжения высекать внутренний свет !

На циферблатах Океана нет стрелок : лишь звёздные ритмы отражаются на них. Все стрелки слушаются одного и того же такта на Материке, где всё исключительное вымеряется по общей мерке. В Океане всякое переступание граней задаёт новую меру. Всё исчислимо на Материке : любой геометр в Океане отчаётся уже в точке первоотсчёта, где зачинается и завершается всякая непрерывность.

На Материке мечта - подражание смерти : в Океане - это единственное от неё спасение.

Лхнуть к Речному берегу означает, на Материке, сон моего я : в Океане - самые верные бдения.

Но шар земной всего один. Материку уже мало хлеба, сотворенного из камня : он тянет щупальца к новым источникам благосостояния. Придёт день, когда океанские течения, приливы и отливы станут благоразумно использоваться, а речная свежесть, унявшись в сдерживающих плотинах, послужит смазкой для слаженных деталей машин полезности.

Мой Глобус предназначенся начинающим. На нём не обозначены внутриматериковые моря, волнующиеся Братством и Справедливостью, но слышимые лишь прибрежными душами. Нет на нём и вершин Иронии, с которых одним взглядом схватываются все стихии, но это для мудрствующих : стоящие истины открываются глядящим под ноги и прячутся от задирающих к небу нос.

Ты видишь, что рука моя начинает блуждать, и это подходящий миг, чтобы споровиться, нащупать твою и передать ей всё моё

дружелюбие. А к лекциям мы вернёмся, когда нам будет не до рук, не до ухватываний.

Х. Декабрь

Как видно, в этом году мне уже не читать настинного хитроумия. На носу Новогодие, а у тебя уже и Рождество. Я примощусь где-нибудь у неяркой свечки и пошепчусь с тобой о чём-то пустом и в то же время вмещающем самые широченные прочтения.

В людях есть четыре породы : утилитаристы, моралисты, мистики и поэты. Пользой или правилом, первые две разлагают всякий образ по шкалам внешних дел и весов. Отстранённость ума или колдовство слова, у двух последних, лепят новую жизнь из отпечатков мира. Мистик и совсем отворачивается от прообраза, а поэт, зеркало теней, нуждается в нём как в тени.

Не довольство, а охота человека тешит ! Потребитель или оценщик буден совмещает желание с событийным хламьём, и желание умирает как сбывшееся обещание или озадачивает как сорвавшееся волшебство.

Ловец заглазий или певец задушевий не возвращает дням того, что обручено вечности. Он не тщится вырвать груз жизни на ладонях желания. Неуклюже ковыляя по ладнёхонькой суше, не станет же он пленятся здесь подспудным эхом того, о чём свободно пели крылья в полёте.

Моя четвёрка - это крайности слуха перед вопрошающей нас жизнью : почему нашего происхождения, чудовищное где, свобода, оборонительное как, чуткость, и подытоживающее что, творчество. Утилитаристу доступно что, моралисту - как, мистику - почему и, совпадение ли, диво ли, но ничего не остаётся поэту, кроме где-свободы.

Неизбежное для чего решается иронией (при отчуждении, гордости или выходе за привычные меры) или перспективой (от сообщения с веком-властелином, от зуда новизн и уподобления). В иронии - душа, в перспективе - ум. Но в лёгкой иронии - бесплодие, в голой перспективе - ложь. В высокой иронии - неизживаемое величие, в высокой перспективе - преходящая величина.

Я называю иронией то отношение к миру, которое не помещает святилищ на Земле, а за каждым осенённым кумиром углядывает жертволюбивый век или не более чем поличную тень от в тебе самом зажжённого светильника.

К вершине жизни ведут два противоположных откоса : ирония и поэзия. Когда достигаешь её, то выпасть в свою глубину хочется по другую её сторону. Потому что либо сердце перенатужено, либо голова страшно вскружена, и захочешь, соответственно, то ли размагничивающей иронии, то ли электризующей поэзии.

Ирония - это стыдливость чутких, это одёргивание унижительной выпренности, это отсылка окончательных мнений в мир незнаемый, но веруемый, но предчувствуемый, но почитаемый.

Но ценности создаются лишь самовольной поэзией, а не невольной иронией. Не приобретёшь права на бесценное приписыванием всякой вещи одной и той же цены : на иронии можно только разбежаться, скачкам и прыжкам потребна иная почва.

Желаю тебе в Новом Году завидующих скачков, пребольшеущих удач ! Да будут они не слепыми поводьями твоего счастья, а лишь украшением, случайными, но всё же заслуженными наградами ! Да произойдут твои достоинства из глубины волнуемого сердца или из причуд вскружённой головы !

И пусть чувство родного причала находит на нас лишь тогда, когда Земля уплывает из-под ног ! В кораблекрушениях настоящего, на

якорных стоянках прошлого, на зыбких гребнях будущего - да не забудем мы напутствий того, над чем не властны ни время ни расстояния.

ХІ. Январь

Понапрасну прождав письма неделю, две, месяц, начинаешь бичеваться, виниться, кажешься себе навязчивей и привязчивей, чем следует. Провалы между твоими письмами зияют всё неохватней. Последний из них утопил бы в прошлом сколь угодно высокое и плавучее будущее. Настоящее свелось до периметра почтового ящика.

А ведь наша перемолвь, Настя, делается мне всё дороже. Это потребность в дружелюбии, в общении без красований, избитостей и обрядов, в самоизлиянии без ограждений, берегов, затычек и мер. Живи ты в Патагонии, возись ты с эскимосским языком, гляди ты на жизнь с совсем чуждой мне стороны, всё это, быть может, и сместило бы устье, но не переродило бы источника.

Всё отдаётся этим бестелесным узам, без бичевы, навязанной опытом, привычкой или примериванием. В тусклом застенке души приоткрылась форточка : заглядывая в неё, всё явное обволакивается мечтой, вырываясь из неё, мечта выгравировывается в явь. Я слежу за этими перемётываниями, чуть смущённый, и не знаю, чью сторону принять.

Ко всякому новшеству приобщает жизнь, но красит и возвышает его - наша душа. Жизнь вводит за все пороги, но врата за нами замыкает - наша душа. Жизнь подвела меня к тебе, я замер, и вот уже жизнь забыта, я остаюсь наедине с прелюбопытнейшим незнакомцем, своим я, раскошеливающимся силами и воображением. И я хватаюсь за него как за точку нежданной опоры, и вот уже жизненное чувство высвобождается от состояния внешних вещей - ведь это же храм, сооружаемый воспламенённой душой азиата !

В твоём письме был расписан жуткий триптих о нашей Сибири. Ничто в нём уже не устроит того, кому кажется сносной Россия

поуральская. Пространство - но его уминают моторами : стужа - но однообразная мука уже не мука : дальность - но в наше время изоляцию определяют не пробегом ног, а полётом мозга.

Всякая ввязанность в жизнестрой сужает душу, и единственное причащение, которое душу раскрывает, -это встреча с природой. Сибирская природа и проще и независимей и скрытней, оттого в сибиряках, даже измосквичившихся, так много смирения и восприимчивости. Для них плотяной человек ещё не складывается, не обращается в бесплотный мир. Неправда мира вспенивает и выплёскивается многословным бунтом, неправда людей сушит и лишает дара обличительной речи. Поэтому проблема общинной справедливости, столь значимая для больших городов, чуждовата выходцам из леса.

Над большими городами сгущаются и большие грозы. В громовых, равнодушных раскатах смогут всегда затеряться наши вопли и хрипы. Но беда в затишье, когда тебя укутывает сетка морозящего, безостановочного, бесшумного дождя, и не остаётся ни одного закутка в душе, неподвластному холоду и дрожи. Спасений два : хрустальный терема детства или непромокаемость душ толстокожих.

Снова я у лона матушки-России, что делать, коль нудит мачеха-жизнь. Мы по-азиатски превозносим человеческую душу, по-европейски чувствуя общечеловечность судьбы. Азия - это содержание без формы и жизни. Европа - форма и содержание без жизни. Россия - жизнь без формы и без содержания. А если это так, то очень поучительно заметить, что о людях дела судят по тому, чего не хватает их расе. О людях мысли и чувства - по тому что расе присуще.

Отправная точка русского - на Востоке, его цель рисуется перспективой Запада. Европейец хочет достичь цельности, живя во имя очевидных целей : азиат - употребляя очевидные средства. Для русского всякая цель посредственна и никакое средство - не

самоцель. Это одиночка, но покрывающий общеземной пробег и переносящий эстафету общего дела и блага. Для азиата комичен старт, для европейца драматично поражение на финише, для русского трагичен сам пробег-судьба.

К финишному общинному благу, нам приводится порой волочить ярмо в обличье той самой личной эстафеты. *Il est écrit pour la race de Slaves de porter le joug et le nom des Esclaves.*

У нашей души нет азиатской закалки, а у наших шагов - европейской осмотрительности, поэтому душа наша опьяняется от самых лёгких возлияний, а пути сбиваются в самых пустычных перепутьях.

Лучше добродетель, чем жизнь, иночествует азиат. Лучше смерть, чем рабство, восклицает европеец. Лучше раб, чем грешник, лопочем мы. Но всем, по-видимому, суждено возглашать : лучше грешить, чем жертвовать. Пока мы, к счастью, дальше всех от этого. Но докатимся мы и до новосветного нет греха, жертвы бессмысленны.

Нам пророчествовали братство во Христе, а мы прибились к сообщничеству в Антихристе, хотя и столь же мессианскому. Нас звали к свободе со страданием, а мы лапаемся за счастье без свободы.

Всё это, как будто бы, и близко мне, и в то же время, ни на шаг нас не сближает. Я возвращаюсь к нашей неписаной, совсем не литературной дружбе. И травы и солнца шлю тебе приветствия, не обихоженные ни бесповоротными словами, ни тяжелодумными делами.

Твой друг-скиф.

XII. Январь

Опять нелад приступает. Хрупкая игрушка человек, ничего не скажешь : стоит какой-то песчинке непонимания забиться в него, как его винтики и пружинки угашаются, барахлят, а то прокручиваются вхолостую или дают обратный ход. А всё твоё славное письмецо, напичканное неведомыми мне приправами. Что-то же дёрнуло меня проглотить его, не успев задаться вопросами о вкусах и аппетитах. Кое-какие словоедкие пряности прошибли до слёз. Изрядными лингвистическими просладями я ухитрился-таки смыть всю безъязыкую горечь и ненасыть.

Угораздило же нас говорить на разных языках ! Клянусь все условные наклонения, искажающие в нас самое безусловное. Все склонения, принижающие наши склонности. Все правила переноса, затеривающие наши непереносимые иллюзии. Уступить бы место междометиям да кое-каким знакам препинания, лучше всего поддающимся переводу, но их истолкователь затаился глубоко и не объявится, пока его ни призовут тихо и нежно.

Возьми моё зрение, дай ему стелиться ниже травы или парить выше гроз и сроков. Я протянул бы и другие чувства, даже из не вошедших в каталоги человековедов, но, боюсь, они утянут тебя от всего, что искусственно, и вовлекут в самую природу, а для этого не сезон, не календарь. Не моей нескладной руке писать законченные пейзажи, по московским наброскам, по парижским заметам. Здесь вернее взмах волшебной палочки в твоих руках. Каприз мгновения, каприз слова - на твоих губах.

Нужно ли повторять, что для истинномонетчика алхимия слова увесистой физики дела. Неподдельную монету радости чеканят из

всплесков рук и взглядов. Остальное лишь расписки и долговые обязательства.

Да, ты права, я понастроил вокруг себя стен, но их предназначение скорее в том, чтобы не дать растечься моему я, чем не допустить вторжений извне. Ты же видишь, к примеру, как беззаботно двоится в моих глазах, лишь чуть ты появляешься на расстояниях, доступных памяти и прочим ещё более замечательным орудиям.

Волшебная отмычка нашего сезамова я забрасывается, коль скоро растрчены её сокровища. Тогда принимаются за переоценку уже заложенных ценностей или за подделку новых. Когда гнетёт пустота в кладовых сердца, так утешно выставляться в витринах жизни.

Моя пещера неотразимо непоминает узилище, но из неё я могу свободно наблюдать за вселенским заимодавцем, не вверяя ему своих сокровищ. Ведь всё - торгашество, и то, что нам, якобы, дарится жизнью, на самом деле выдаётся ею в краткосрочный долг, и расплата потребует от нас частицу того, что есть в нас самого ценного.

Вот почему порой лучше сохранять внешнюю бесстрастность, чем дать истечь из себя забившей страсти. Часто спрашиваешь себя : неужели этого мелочного волнения довольно, чтобы выплеснуть не возвратно частицу твоей бесценной души ? Пусть в тебе самом бьётся и разрывается запавшая в тебя страсть : вырываясь наружу, она примет обличье случайных, малозначащих вещей или слов, и вскоре тебе стыдно будет за гиль того что на какое-то время заключало весь твой необъятный смысл.

Пусть всякая боль всегда достоверна и нешуточна, её прямая причина часто смехотворна и вздорна. Сама боль беспредметна, безъязыка и высокородна, но её поводы - торжище притязаний, прав и злопамятств.

Не привязываться к случайным предметам, на чьей коже мы застаём неслучайный свет и им пленяемся. Сдерживать шаги по этой Земле (где всякое перемещение - ползание) и видя её бесконечную плоскость и безопасность, всё-таки тянуться к небу. Живучи живи на свет, да не заживайся...

Век хоть и уплачивает неровности, но и ускоряет движение : и вот уже и песчинки препятствий воспринимаются как роковые глыбы. Движения надо бы желать только такого, когда шаг не средство, а цель, не рост, а уход в новую размерность.

Надо быть жрецом своего внутреннего горения и быть взыскательным в выборе того, что его питает. Надо уметь отвергать те жертвы, которые внесли бы в тебя лишь чад времени или усугубили бы непродых твоего собственного неусвоенного пепла. Лишь лихие глаза чад ней-мёт...

Но что делать с этой пропастью между желанием и волей ? Отвращаться от действительности и поклоняться мечте, и всегда, всегда - не находить себе в жизни места ! Неужели нет ничего между : не знать себе места или никому своего места не уступать ? Равновесие жизни либо в бесправье, в ощущении надчеловеческой воли, узурпировавшей бразды событий, либо в возбуждённости прав, в препирании, в попрании. Либо заложить, причастить свою свободу какому-то непогрешимому капищу, либо обмирить и обобиходить её святость вымаливанием или застолблением своих посягательств.

Людям одинаково невыносимо распорядиться бременем своей неуёмной внутренней свободы, как и смириться с ее бесполезностью во внешних пересудах, склоках и передрягах. В этом - корни всякого тиранства (политического, философского или религиозного), с одной стороны, и всякого духовного измельчания (принижения души участием её в третьестепенных земных противоречиях), с другой.

Свобода нам невпроед : ханжи манят постничаньем, власть придержащие суют прожиточный эрзац, а мы, так и не изведав её вкуса, живём голодно и тошно и обманываем себя, твердя, что духовно свободен лишь тот, кто не обращает свой внутренний жар в страсть прикладную - волю, ибо воля - это вспять повёрнутое разрушительство, то-есть, опять-таки, кабала. Работы без заботы нет, а забота и без работы живёт...

Твоё поле брани да не перенесётся далее твоих изголовий, изножий и задушевий. Изверишься ты и в вверениях и в безверьях, но уж пусть это случится в схватке с самим собой, а не в спохватыванье об утраченном самопротивлении. Предоставь другим быть умонаставителями, сердцедами и душегубами : тебе - быть самому себе душеведом, сердцелюбом и умозрителем.

Я устранился от всего, а тут пришла ты и связала меня по рукам и ногам. Ты ушла, и на лаза легла толстенная повязка. Ты остановила привычный ход мыслей, завела во мне какую-то неведомую пружинку, в сердце замаячили звездные часы и эпохальные секунды.

У долговой ямы сердечности замерли тебе подвластные стражи. Чем больший за меня дают выкуп и чем высокопоставленней заложники, тем надежней кандалы и уже свод небесный, открытый навзничь вскинутому сердцу или ничком павшей голове...

Но что это, что это !!! - в руках конверт с марками, утешающими прокаженных и напоминающими человеку его права. И с плеч долой все шатучие чувства и дошлые мысли. На твоих страницах умиротворяется январский непокой, на твоих страницах - первая полночь, достигнутая по ту сторону Рейна и Дуная нашей растущей, бодрствующей дружбой. И вслед за твоим пером я вижу каменотёсов короля-Солнца, копошащихся на триумфальных арках, слышу торжественные александрины и журчащие рулады. Затёсываюсь в

вереницы моих соотечественников, повествующих начала века, повествующих о своих посеребреньях и утолщающих твою диссертацию.

Что-то удержали эти страницы от света глаз твоих. В годах не умещается так легко то, что свободно расположилось вот в этом мгновении. В молчании и полунедомолви – язык настоящей радости : ты заселяешь их и озвучаешь : твой голос слышен на всех этажах. Даже о *любимой картине* я не могу так распространяться, как ты. Собираюсь с духом, и вот ещё какая каверзная вещь, язык : убери существительное, и то, что остаётся, светит тем самым, неподлунным светом, затмевающим всё, всё составное, всё бессветное...

Видишь ли, как всегда, мой первый шаг – чтобы ступить в обставшую действительность, но тут же голова вскидывается слишком высоко, ей всюду мерещатся двуглавые вершины и к ним – нехоженные маршруты. Тебе они не покажутся путаными, их прочерчиваешь ты.

Не скажу я тебе сегодня *До скорого ...* – ты заполнишь мои часы до самых нескорых и недвижных минут – я пошлю тебе лучше свой поцелуй, а уж ты найдешь ему приложение по вкусу, а потом расскажешь, что из этого вышло.

XIII. Февраль

Вот же какой никудышный я книжник ! Что делать, рыскать по Москве за книгами по истории Руси на рубеже веков, что охотить медведя в Париже. В наших зверинцах несчётны кролики, попугаи и ослы. Где-нибудь к весне, небось, и приоткроются кой-какие берлоги, мои рогатины начеку. Ведь я бы сжёг все свои книги, только бы тебе было тепло и хорошо. А вместо того я прожигаю жизнь, не умея донести до тебя ни одной её искры, как ты ни твердишь обратное. Тихо кадишь, чертей насмешишь : дымно кадишь, святых зачадишь...

То, что мы пишем оба, не отвечает никакому опросу. Говорят, что лишь безответьем ценны молитвы и самоутверждения : это вспышки невозвратного света, иногда углубляющего взгляд. Крик человека обожествляется молчанием бога.

Ты видишь сама, дружок Настя, что за плоская штука жизнь. Порой пылинка становится эдакой непреодолимой преградой. Сегодня эта пылинка – несправедное кружение наших писем в пустынных километрах, затемавшихся между нами. И правда, что тела далече, но зато как соприкасаются души ! Как не уловить этого даже вот в \этой грустной твоей записке, оплакивающей заблудившихся предшественниц, но что-то удержавшей, к счастью, из их аромата и ... мест назначения.

Чем больше исписанных страниц, тем будет вместительный замок, где нам шептаться или кричать во всю мочь заждавшихся лёгких. Пускай пока налаживается акустика, наша звучность не в ней, а в нас самих заключена. Наиссердье и наизусть заучено благозвучие и ещё добьётся до тонкого слуха и тонкого чувства.

Стрелки часов что крылья мельниц : надо бы подключить к ним жернова, мелющие всякий плевел времени (вроде эйнштейновой

поливалки у калитки сада). Вот только донкихотова жилка мне ближе эйнштейновых сухожилий и извилин.

Жизнь, говорил я тебе, - это ночь, и встречи в ней – спотыканья, столкновенья, ощупь. Ты видишь ли, моё ночное сокровище, моя ночная находка, как я силюсь прикрыть ссадины, шишки, кровотечения? Чем меньше мы будем держаться за их ночь, тем вернее придёт наш рассвет. И да придут тогда подлинные сновидения, и да примутся тогда бездельницы – губы за их глубоченные толкования.

Мы лепим наши сны из такого свежего материала, что застыть и окаменеть им ещё нескоро, хотя бы и сама нечистая сила взялась прожаривать их в преисподней будней и обихода. Надломленную вазу просто восстановить, когда глина ещё сыра, но совсем непросто, если она уже обожжена. Отложим мрамор до лета, а пока препоручимся эфиру и слоновой кости.

В нас обоих больше красок, чем контуров, больше огляда, чем глубины, больше взмётываний, чем устоев, больше отступлений и перескакиваний, чем корпения и чувства следа. Так-что ты не удивишься, если я вдруг перейду, с бухты-барахты, к присланной тобой книжице эпистолярного моего брата.

Начну, конечно, с отступления. Всякая книга не поводыррь, а калика, заблудшее книгочия. Тебе, а не ей, странно приимствовать, призирать, утешать. Что-то должно впитаться в тебя из неё : если она – ливень, то может стать и очищением : если она – океан, она, глядишь, и утопит ухабы исхоженной суши : если она – кладезь, мы испытываем бечеву наших мыслей (или струны нашей чуткости) дотягиваясь ими до её зеркала.

Как истый галл, твой Автор расставляет художественные сети, чтобы уловить житейскую истину. Но поскольку эта самая истина вся в

устремлении в беспредельность, а ничего нет преходящее нашего скорывистого я, то давайте изгоним его, или уж пусть оно ускользает сквозь намеренно раздавленные ячеи нашего мировосприятия. Я же – за выкладывание своего я со всеми его неизвестностями и перемётываниями.

Хоть он и поэт, но натура у него не поэтическая.

Поэтичность значит видеть лишь то, что высоко или прекрасно. Поэт тот, кто хочет повсюду видеть поэзию.

Поэтичность – подниматься до восхитившей тебя красоты. Поэт – тот, кто всё возносит до высоты своего опоэтизированного видения.

Поэтичность – умирать, когда истощены краски и образы. Поэт – тот, кто возрождает и вдыхает жизнь в уже стёршиеся картины.

Поэтичность – срывать цветы и блуждать без цели. Поэт пашет и ищет.

Поэтичность – от сердца, поэт – весь из головы.

Список ширится угрожающе и пристрастно : я обрываю его, говоря : пошли нам небо или вольное зрение одного или богатство другого !

Для профессионала важна лишь убедительность очертаний, пиши он ворону, пиши он лебедя. Но стоит появиться разладу между вкусом автора и чуткостью читателя, как закоробит то от плебейского предмета, то от безжизненных вопросов, то от за уши притянутых ответов.

Лиризм, у твоего Писателя, лишь один из равноправных гостей ума, и на нём те же одежды, что и на бытийности и на эпичности.

Mensch, sei wesentlich - это так подошло бы к моему девизу : греческий голос из германского поэта, словно списанный со фриза

дельфского храма... Говоря проще и победней : за малым погонишь, большое потеряешь.

Почтовая Сатана продолжает зариться на наши письма, а потому примусь-ка я за следующее : глядишь, одно из них словчится и избежит когтения и заглатывания.

Позволь мне взять твою руку и совершить над ней тот обряд, который свободные люди приняли бы за волховство, но в котором распознают далеко идущий залог известные нам невольники.

XIV. Февраль – Март

Добрая моя Муза, добрый вечер (этому вечеру удастся сегодня дотянуться до самой весны !).

Ты права, свободный человек неестественен, а естественный человек несвободен. Ведь свобода всё уравнивает, а естеству так дорого самоволие и безотчётность выбора.

Свобода от зрелости, естество от молодости. В нас стоцветная суть и жалкая видимость, всё в бытии, ничего в имении. В зрелых же – раскидистая видимость и сморщенная суть, всё вошло в имение, то-есть в мерещливость, кажимость. Но, всё-таки, даже быть значит являться, проступать на общечеловечьем экране, то-есть отказываться от самоволия, мечты, веры.

Я не хочу находить себя в сопоставлении : мне было бы слишком стыдно, что я лишь то, что я есть : я не могу жить без веры, или иллюзии, что я – многое.

Эту-то иллюзию русские, может быть, и называют внутренней свободой. Они неустанно твердят о себе : то, чего касаются мои руки, чего достигает мой мозг, что я завершаю своим словом, - всё это не может быть жизнью, это слишком мелко, а я вседневно чувствую призывы глубокой, неопровержимой, многочудной жизни. Принимать любое бремя осязаемой жизни и внутренне побеждать его – это выше, чем выторговывать впору подогнанное ярмо для ненатёртой сомнением внутренней выи. Святым бы кулаком, да по окаянной шее !..

Меня подкупают пляски в кандалах, красноречие с камнями во рту и постели с гвоздями – чувство внутренней свободы среди опутывающих цепей.

Пусть несвобода – ложь, но свобода – это не только избегание лжи, подобно тому, как несчастье – страх, но счастье – это отнюдь не бесстрашие. (Ведь не ценность жизни рождает страх, а само существование страха намекает на бесценность жизни – лучше со страхом жить !

Различие между нами и свободным миром не в том, что мы переносим, а они нет, ущемления и унижения, а в том, что для нас есть унижение избранное, принимаемое и унижение навязанное, нас калечащее. Есть унижение, не имеющее ничего общего с уровнем нашей духовной жизни, и унижение, её раздирающее. Для них этого деления не существует : унизиться и быть униженным для них – синонимы. Унижение, в их глазах, не может быть благостраданием, благом, и всякое страдание лишь подавляет и унижает.

Предержавшие бразды у нас в состоянии завлечь в свои колеи, указом, страхом или колючками вдоль обочин, весь наш удобосклоняемый кагал. По ним же, лучше самому понукать заблудшее стадо, чем ученичествовать под суровой указкой своего сердца.

У нас нет препон для общественного злодейства, у них скуден позыв к личному милосердию – и мы видим, как лиходейничают добряки, вовсе не обученные злу, и как благодетельствуют равнодушные, никогда не обращавшиеся к советчику-добру.

Всё благонамеренно и гадко, что покоится у нас на поголовье и скучиванье, у них – хладоотвлечённо и гладко.

Незадача в том, что мы анархисты и не годимся ни для свободы, ни для несвободы, мы – в нетовщине действия. Мы лелеем свободу, несвобода нас гнетёт, и всё-то для нас – нечаянность и откровение, а участия, волевого или творческого, ни на грош. И пошли бы бог работу, так отнимет чёрт охоту...

Внешняя свобода не занимает ни малейшей доли нашего содержания, а оставаясь в круговерти формы, она запускается в бедных искусством буднях. Убери у нас насилие, наше нутро останется тем же. Они же – прямое и запрограммированное следствие их внешней свободы.

Над нами, быть может, самое убогое из самовластий, но на границы между низким и достойным ничего общего не имеют с разделом между подпеванием или подаванием своего выбивающегося голоса. Понукалу найдём, был ли сказочник...

Как и подобает русским мальчикам, мы страшно далеки от сцены жизни активной, устраивающей. Схимники, мистики, то с бесовской решительностью, то с зауряднейшей ленцой, то с убитостью узников, то с живоплещущим ликованием освободителей - и всё это в зарёберье, в залобье, пальцем по воде. И на чём мы сходимся, так это на необескураживанье несбыточностью, неприкладностью. Задор того не знает, что мочи нет...

Может статься, лишь оттого у других есть свобода, что возрастают они с собственническим нацелом, и для приемлевого сосуществования среди них обязательно выкладываются непререкаемые рубежи законности и прав человека. Там, где первый позыв - не остаться в накладе, там, где всякий, не обинуясь, хозяйски возглашает свой пай по праву оседлости и буквы, там немислим поголовный гнёт.

Там же, где странническое настроение обуревают всеми, вплоть до чинно усаженных в текущий уклад, там распоясывается самоуправство, там расхаживаются представления о дозволенном и запретном и закрепляются в казённом бесправию.

Как ни преувеличено это звучит, но выбор недалёк от дилеммы : грызться или дать себя угрызть.

Не степень внешнего насилия определяет личную свободу, а участие свободного сердца в осознании как правого, так и неправого суда. Не ищи правды в других, коли её в тебе нет...

Область нашей свободы – одна точка, центр, от которого исчисляется размах всякого дела. Их свобода – это замкнутый круг договоров, притязаний и оговорённых уступок.

В ходячем смысле слова, свободным может быть только общество маленьких тиранов. Свободным в более чистом смысле становятся *рабы божии*, то-есть те, что несут в своём сердце основание всякого суда. Свобода – это желанное бремя, это внутренний долг, а не внешнее право, облегчающее существование.

Попираемый и принимающий при этом попиране как очистительную и возвышающую боль свободнее вольного ревнителя благ, покоящихся на сердце безразличном, но весьма прибыльном правиле. Неволя крушит, а воля губит...

Тут нужно, конечно, оговориться, что без одоления искушений всякая проповедь – соблазн, изъян и суесловие. Не допивая до дна ни одного кубка, нам и неведомо, что осадок есть у всякого зелья. А внешней свободой нас и не приманивают уже больше полвека. Эти недопосвящённость и недопросвящённость и усугубили бы, как знать, повальное опакощение хватательным инстинктом, дай нам свободу. Именно поскрести бы нас надо приманкой, чтобы выпростать не знаю татарина ли, но во всяком случае, нечто менее стихийное и безответное.

И, как едва ли ни всегда, я вдруг признаюсь, что мог бы наговорить, тем же голосом и с той же прямоотой, нечто диаметрально противоположное. Вот она, неискоренимая беспочвенность человека, идущего на поводу у впечатления, а не у мировоззрения.

Закруглюсь, как и начал, на народе. Так уж повелось, что на нашей стороне трудное слово *народ* заключает в себе более всего сновидящую (или луначашую) душу, а не как у наших западных соседей – бдеющий желудок, или у восточных – дремлющее, не оживляемое жизнемудрие. И во всяком случае, у нас ясно, что всякая сила сцепления людей – ложь, а сила, высвечивающая каждую отдельную душу – истина.

В следующем письме обещаю вернуться к себе, где тебе будет свичнее, там столько твоих отпечатков.

XV. Март

Из пещеры, подполья или крепости нашего я возможны или вылазки в обложившую нас жизнь или подкопы к нашему *над-я*. Эти уходы духом или чувством называют экстазом : то ли отдаться внешне навязчивой мысли, то ли сдаться перед внутренне подкатившей любовью. Отрываясь от себя, возносясь над собой, мы растём, тем и изумителен экстаз. Одно и то же торжество, одна и та же отрада даны духу и сердцу : оставить себя, расстаться с собой, ввериться.

Но без набегов на жизнь припасы душевного здоровья скудеют быстрее счастья. Под водительством души, при поводыре Сердце, вольноопределяющийся Разум крадётся станами и стойбищами. Его забота – понять, что в приятии

Или отвержении жизни, может быть облагорожено (возносимо до нашей Башни), а что суждено безродству, нелепице или необратимому ходу вещей. Дело Сердца – возвышать совершенствуемое. Вековать навязанное роком – поприще Души. Душе нужен закон, Разуму – принципы, Сердцу – рецепты.

Из перепалок с жизнью надо вынести незаёмного богатства – доброго сердца, светлого горения – чистой души и неподдельной красоты – животворящего ума.

При возврате в я нас ждёт даже не подъёмный мост между небытием и вечностью, а допотопный паром с заваливающим грузом, творчеством. Наши заботы – не унесться течением повседневности, не подменить состязательной, потешной греблей бурдацкую тяготу без азарта и прикрас. На берегах бездна житейской грязи. Не беда, тем естественней будет скрести несменное сердце на пороге одиночества, прибранного умом, омытого душой.

Тем преданнее последует за тобой твоё я, чем круче тебя отворачивает от него ход событий. И во встрече с ним рождается единственный негасимый свет, тот, что видим, едва смежишь глаза.

Лишь на людях проясняешься, но лишь в одиночестве светишь. Или бросаться вслед отозвавшемуся в тебе эху времени или же всё пропускать, не преломляя и не поглощая, даже во времени не признавать своего современника, в своём лазутчике, я, видеть не более чем соименника и не уметь ответить караульному самопознанию ничего кроме *искал самого себя*.

Кроме рукопашных схваток с жизнью, есть ещё окликивание поверх бойниц и решёток. Есть трое удивительно близких выкликает со стороны жизни : вера, верование, верность. И обращаются они, каждый к своему напарнику : душе, сердцу, разуму. Наши отзывы часто смянут на ветру суеты и доходят до Их слуха в виде уверений, поверий, разуверений.

Нам, по сю сторону, проще, и не пристало нам принимать эхо разума за тоску души или ослеплять разум вслед за душевным смятением. Напряжение наших отзывов разряжается в упорстве рук, высоте помыслов или неизречённости любви и тем самым выявляет своё происхождение. Ответы фальшивые и, как всегда, самые убедительные исполняются хором : плодovitая поэзия, глубокое провидение, могучие боги – все сочетания по два из трёх, тогда как искренняя лишь единичность.

Мне выпала сольная участь, без утешительных нот рассудочности, без наводящего наигрыша духовности. Маловнятный гуд сердца, может быть, и ни в ком не отзовется, но его постоянно питает несказуемая любовь. Никого, вероятно, мне не облагодетельствовать, но душа вся в причастности суду добра. Не украсить, как видно, мне

эту Землю, но волнение при виде прекрасного так неукротимо будоражит разум.

А в чём же благожребие, мерило жизни. Не удовлетворённость же ею, что злоупотребляет параллелями в ущерб иноразмерным параболом мысли и сходящимся гиперболам чувства. Жизнь удалась, этот итог не складывается из удачно сложившихся дел, он, скорее вытекает из предотвращённых вычитаний из нашего я, вычитаний из врождённой в нас суммы блага и любви. Жизнь умножается внутренней страстью, а знак её задаётся мерой творчества. И полноты жизни можно достичь лишь разделением без остатка нашего чувства жизни чьей-то родной душой. Ты видишь, до чего докатывается моя арифметика, когда оказывается на первом же непростом числе.

Я недостаточно жил, чтобы благообразно уживаться со своими противоречиями. Я много пережил, и мне уже не выжить со своей клеймённой целостностью, той самой, что взгревает равнолюто, как бы взаимоисключаяще не складывались обстоятельства. Я слишком горд, и вместе со мной площает, хужеет и сквернит Вселенная. Обшаривая ли её издевательские поднебесья, вцепляясь ли в пядь мне обетованной почвы – всё унижительно, всё горемычно. Быть стволистым дичком, бездумно рвущимся к Солнцу (и часто опадающим преждевременным пнём) или же предаться предуготованному кущению, дящему жизнь, стелиться отеплённой земле. Лучший рост где-то посередине: слабый корень распоряжается цветением, сильный же ему служит. Но этот корень – безнарывная, ненадрывная, ненавзрыдная голова, а как её сгладить, сердешную...

Вот и снова я застрял в тупиках самоогляда. Для остановок на перекрёстках дней у меня не остается терпения. По колеям нашей дружбы меня несёт прямо на площадь Июля. По бокам обступают опасные, долгие месяцы, но я закрываю глаза, веря колёсам судьбы,

знающим все тонкости прогона. Ничто не предвещает зелёных улиц,
но где уж мне до цвета и бега – пути светлы, да вот очи слепы...

XVI. Март

Чернила – жидкость страшнее алкоголя : в них тонешь, как только рукам на вёслах приходит на помощь сердце. Подучиться б искусству мореходов, суметь пустить заборт ненужный груз, чтобы удержать наплаву самое ценное. А от тебя – ни маячащего огонька, ни сиренного напева, ни звёздчатого путеводия.

И другая жидкость закипает : слушаю любимую свою вещицу. Музыка оставляет нас наедине с нашим я, в обычное время загромождённым и искажённым. Оттого-то незнающие себя говорят о музыке как о встрече с чем-то чужеродным и далёким, а те, кому доводилось опускаться в собственные сокровищницы или клоаки, только тогда и окунаются во что-то родное. И тех и других в эти минуты навещает одиночество, но вторые несут двойной груз : одиночество предчувствия и одиночество узнавания.

Для меня музыка – последняя уловка проигравшего бой и поверженного оземь в чистом поле, по которому рыщут ликующие и беспощадные враги, - уловка прикинувшегося неживым. Вроде бы и минули меня доканывающие дубины жизни, и не обманулись ненароком налетевшие вороны отчаяния, а инее всё не одёргивается, и воображение не вырывается из рамок выживания.

В музыке есть сходящая на Землю красота и возносящая к небу божественность, поэтому она так идёт христианству, ведь красота-то как раз от неба, а божественность – от Земли.

Мне не дотянуться , не постичь, не обогреться у этой звезды, но её свечению отзовётся что-то надзвёздное во мне.

Свойств моего зрения недостаточно, чтобы проникнуть дальше очевидности, порога веры, и, видимо, только за ним душе под силу

избавиться от безутешного земного закабаления. Верой можно лишь очертить (но не объять, не исчерпать) тайну существования. Пусть вера пуста, но она тем только и драгоценна, что её лелеют и теплят как вместилище истины. Прося, не напиться, а дадут, не залиться...

Вера – это чудо отклика в заведомой пустоте. А без отклика не выжить отшельнику. Отдающиеся балаганному шуму жизни принимают его за этот отзыв и тем утолщают тайный позыв : не остаться наедине. Человек открывает дверь и обшаривает горизонт. А Гость в нём, и надо бы именно закрыть покрепче дверь, чтобы его обнаружить.

Но правда нашего одиночества (то, что наше сознание – единственный оправдатель и осмыслитель существования) так безутешна, так невыносима, так умопомрачительна, что её прозрение лишь распалает наше отчаянное ауканье. Мы способны идти в сторону той грандиозной воли, которая нас заключает (то-есть и заточает и содержит), и воображаем, что и она может делать встречные шаги. Мы вопим и по земной инерции вслушаемся в бредящий хаос мира, чтобы уловить предназначающиеся нам якобы отголоски.

А ведь предвечное – подкидыш, беженец в отступившемся от него *святотатственном* времени, и утешить и возвысить его должен человек, а он-о, низкопоклонник, сам ждёт от Него снисхождения, поддержки, умиротворения, как будто для Него были мыслимы понятия отказа и согласия.

Хотим мы того или нет, но вера – всегда опора, устой, как бы она ни была безосновательна и полорука. И как со всяким замирением я с ней остаюсь начеку, недоверчив. Всё брение, что не примиряет нас с самими собой, а то, что примиряет, и подавно брение...

Главное – качество веры в жизневидение, в смысл истории и во вкус. Касаться как можно чаще вещей, приводящих в движение мечту,

добро или красоту. Всё, что легко для жизни Иной, не стоит спасения :
всё, что весомо в жизни Этой, не стоит углубления.

В эти крохи, остающиеся от истекающей ночи, я хочу, чтобы ко мне
пришёл хороший о тебе сон. Поцелуй себя как-нибудь за меня.

XVII. Март

Милая Настенька ! Вот до чего меня донесло в эту ночь жизни, под самое утро, когда начинает брезжить и обозначаться всё, что полагалось лишь на прометь и просерь. Свет от тебя пронизывает, и ещё недавняя чёрная болезнь отступает в тень.

Что за радость слушать, как вот с этой, новой странички ты говоришь о твоём московском пришествии, да ещё с этим-вот нетерпением, желанием ! Светлый июль – посадочная площадка, на которой приземлится (что я такое говорю – с которым взлетит) наш воздушный диалог ! Только не говори, пожалуйста, что наш разбег не был бы столь бесповоротен, не будь между нами стольких километров. В наш предполётный телескоп ты заглянула не с того конца. Подойди сюда, вот к этому окуляру, где столько отпечатков оставили мои глаза, столько первовеличинных звёзд открыли. Уступаю своё место, чтобы забрести, хотя бы на один твой огляд, куда-нибудь в лучшие созвездья. Что уж говорить о зрении, когда мы научились пересылать почтовой контрабандой и чувства поострее, попрозорливее.

Ещё в Москве, тебе было невдомёк, как могут сходиться во мне непуть стихов и лабиринты алгебры. Как могут сдруживаться душа-страстотерпица и мечты распинающий разум ? И что логика ищущей хмеля голове ? Да ведь это вроде здоровья тела, этой лежебокой единицы, что так нечаянно означает многие нули ветрогонной жизни.

Толща покорённого недомыслия утончает неподвластные переживания. Лишь мечта может подстроить побег из тюрьмы обыденности, когда все лазейки замурованы охранным умом, а пища сводится к надзирательной логике. Мечта, а не сговор.

Невесомость мечты и груз знания – но ведь головокружительнее оторваться от более тяжёлой планеты. Счёт да мера, крепче вера. Очертив логикой контуры объяснимого мира, с ещё большей радостью преодолеешь его притяжение и окунёшься в мир беспричинный. И предпочтёшь смутного поэта мнимопоследовательному витие.

Монаршая досужесть мечты и суетливость глагола – ирония эшафота порой ценнее серьёзности наследования. Преемственность в закладке начал, начинания в завещаемых краеуголиях, как бы ни мудрили зодчие, как бы ни глупили строители...

Как и физик, математик копается в знаниях, наворошённых предшественниками. Но как и художнику, ему доступно творчество без творения, то-есть извлечение новой, первозданной формы на старом, уже освоенном и усвоенном содержании. Как наука, математика движима сравнением, но с искусством её сближает то, что критерии мастерства не подчиняются нуждам века.

Над тайной бытия, как и над тайной числа, возведено столько глубокомысленных и внутренне не противоречивых систем, но у основания – всё менее уловимая история, всё более спорная логистика.

Я рождён для того, чтобы выговаривать несказимое, воспевать молчание, мечтать о недостижимом, изведывать несуществующее, доверяться переметчивому, отталкивать самоуверенное и надёжное. Как будто бы и есть причалы, где можно бв бросить якоря, а я всё тужусь с парусами, обещающими лишь открытое-преоткрытое море. Невиданная нежность бьёт во мне, а я выставляю наружу лишь скоморошие и пересмех.

Застрельщики буден находят то, что ищут : поэт ищет то, что нашёл. Те не ведают, что бросают, но знают, что ищут. Этому ясно, от

чего он отворачивается, но неизъяснимо то, по чём плачется ищущая и так часто потерянная душа.

Безумие поиска, осмысление находок – нужно исполниться и тем и другим. Уметь принимать парадоксы : ищущий ума заведомо неумён, сдерживающий сердце – жестокосерд, обнажающий душу – бездушен.

Порой бродить со свечой логики под насмешливым Солнцем, а порой жертвовать ею, чтобы яснее видеть и самозабвеннее бросаться навстречу свету высшему.

Почему-то вдруг закосила во мне меланхолия, словно в твоём подарочном Персе. Иду к женщине, забывая не только кнут жизнелюбия, но и родной свой язык.

XVIII. Март

Кому слать эти жалобы, не Всемирному же почтовому союзу ! И заново за меня берётся маятное январское пусточасье. Всё долготерпение расточилось по высокой февральской радости.

Верный своей геометрии, я считаю, что объём доступного счастья одинаков для всех. В общестадном случае радости настолько плоски и низки, что ими удаётся намертво припасть к распластанной жизни. Радость ширится и легко вбирает всё, что попадаете ей навстресу. Радость становится долголетней, ибо прямо под носом возрастает легкодоступный и питательный корм.

Но если радости даны крылья, ноги оторвутся от земли вместе с грузом всех неисполнимых желаний, а жизнь хищно стиснет ваше сердце.

Каким химерам вручает чувство жизни всю свою весомость, чтобы уравновесить бремя по другую сторону души ! Ведь жизнь эта может обещать нам лишь несколько часов, проведённых вместе, несколько касаний рук, не больше... Как-то грустно вымерять долю безнадёжности в том, что так чарует меня в твоих письмах, так тянет к твоей красоте, так раскрепощает перед твоими глазами. А ведь в жизни этой я не встретил пока ни наущений, гоняющих лунь посылья, ни поступков, стоящих подражания, ни даров, заслуживающих преданности, ни друзей, делящих худшую боль, ни созданий, освящающих лучшие верования.

Тормоза бесцельности, вечная попятность и отступничий зуд. А ведь как будто хороша видимость цели – свет, упавший на текущий миг, зовущий к себе руки и вырывающий сердце из порочного круга существования. Это для деятельных натур. Мне, верхогляду и

путанику, это не по сердцу, несподручно. Ещё раз : блажен тот, кому дана звезда, чей свет достигает поверхности жизни...

В средневековье я подался бы в монастырь, возделывать капусту и чернокнижничать. Не философ я и не антропофил, мои *фили* не пристроить ни спереди ни сзади моих привязанностей, они посередине, в малообразованном недоучке-сердце. И люблю я то, что его делает чище, краше, выше, трепетней. Пусть чистота часто недалеко от бесплодия, пусть жажда красоты заставляет покинуть пустыни жизни, пусть тяга к высокому отдаляет от земного преуспеяния – у меня всё же останется моя маленькая, моя проникновенная подруга, так славно пекущаяся, в эту минуту, об остальном...

Эти строчки продремали два дня, а сегодня, сегодня я пронят, подкошен, перемолот – впору бы мне родиться заново ! Ну что за расчудесные письма ты мне пишешь ! И что это за чудо-сердце в них проглядывается ! Четыре разом ! Одного достало бы, чтобы увлечь в самое непосюстороннее будущее !

Чего стоит одит этот прощальный поцелуй, он перепишет самые законченные подобии нашего самоуправа-июля. Да нет, нет, ты многоцветней, женственней, тоньше – ну что ещё я могу знать о том, что смеётся над знанием, о том, чьи очертания ты так славно передаёшь самыми пластичными в мире словами.

Тебе кажется, что нам много что есть сказать друг другу ? По правде говоря, моё воображение *дел* не проникает далее *увидеться*, чтобы следить, потом, глазами завидущими, за безудержным озорством воображения *чувств*...

XIX. Апрель

Как озаглавить эти два дня, что живу с тобой, в тебе ? Не тень ли это, отброшенная приближающимся июлем ? Не игра ли твоего света, упавшего в фокус моего нетерпения ? Не вторжение ли Солнца в моё ледяное царство, через брешь, растоплённую сегодняшним парижским выдохом ?

И нежность твоя всё переворачивает во мне, заставляет говорить то, что никогда не умело находить слова, и замолкать то, что жило только словами и делами. *Amare et sapere vix Dei conceditur. Il fault nous a bestir, pour nous assagir : et nous esblouir pour nous guider.*

La faiblesse de nostre iugement m'ayde plus que la force, et nostre aveuglement plus que nostre clairvoyance.

Ты спрашиваешь, не зашли ли мы слишком далеко, не отметивши ни одной вехи, не прочтя ни назначений, ни пересадок. Я думаю, что за порогом, где мы очутились, земные расстояния потеряли свой смысл. Всякий переезд на Земле – это пресмыкание, если сердца не прописаны достаточно высоко. Мы сами устанавливаем обряды и законодательства для религии нездешнего счастья. Ты знаешь, как она стала называться с нашего последнего Откровения.

Снова принимаюсь за себя. Моё особничество недалеко от малодушия и себялюбия. Как рукоплескать тому, в чьем оправдании нет моей веры или, хотя бы наития. И как не принизить дело достойное со всеми моими шатаниями и отшатываниями – так я одёргиваю себя от всякой деятельности, а сам пустячусь и двоячусь. Малейшие раны меня обескровливают и отравляют кровопортящими

колебаниями. В самом светлом деле всегда находится серенький умысел : в самой наивной естественности всегда можно углядеть подыгрывание и натяжку : в самой явной неизбежности всегда затаивается новый, насмешливый выбор.

Чувство справедливости – это божественная искра, падающая на каждого. Насквозь пронизывая нас, она будит совесть, отражаясь от нас, она обращается человеколюбием : оставаясь в нас, она выясняет расстояние от нашего я. Таким образом, по отражательной способности люди делятся на три чистые категории : равнодушных, героев и философов.

Из интересных особей я выделю формулу героизма - $\infty^{\text{Ты}} = \text{я}$, формулу философии - $(\text{я} + \text{ты})^{\infty} = 0$ и формулу поэзии — $0^{\text{я}} = \infty$.

Большие основания, как ты знаешь, всегда мне были подозрительны. Я ищу лишь несоизмеримых результатов возведения. Себялюбцем делает показатель, но гнушаться этого следует лишь тогда, когда мы ухватываемся за многозначное основание.

Если, как и раньше, это и был монолог, тебе невпрочёт, то соединил он нас на какую-то минуту, понимающую лучше и больше прежних. Ты это, безусловно почувствовала. А знаешь, чего я ожидал от твоего последнего письма ? – *Вы, сударь, упустили случай, чтобы, наконец, умолкнуть.* Никогда не верь губам и мыслям. Прикрываю тебе и те и другие до следующего письма. Вот только покрывало у меня всего одно – неутолённые губы...

XX. Апрель

Вот оно, это нелюдимое, неисповедимое *я*, пренебрегавшее всякой внешней жизнью, а теперь вдруг проясняющееся вопреки всему. Доказывает мне это один многодумный соремесленник (малость обмишурившийся, как всякий числоед, и сболтнувший переменное *cogito*, а тогда как каждому ясно, что надо внести константу *amo*). И сразу же и зависть к другому коллеге, из тех же галлов, убыла на одну треть его итога жизни *vise, scrisse, amo*.

Ты недоумеваешь, как можно быть против мировоззрений, как можно утверждать нечто, зная, что в обратном несколько не меньше истины, и что в конце концов, сама истина – дело доверия и желания забыться. Да ведь ты и сама признаёшь, что самые крушительные подкопы под свои измышления ты сама и могла бы нарыть. Мы сами себе – самые занозистые, самые вероотступнические перечники. Мы с тобой не заодно и беспрестанно себя вымарываем. Одноумы, да не одноумы...

Я не содержу свои мнения, я их сбываю тотчас по вызревании, и чем скоропалительней слово, тем, пожалуй, и лучше и честнее. Слово – это отъединение, особица между мной и им подхваченной мыслью, и это, также, мостик, перекинутый в чьи-то головы. И не прилаженность мне дорога, а нечаянность, самобытность, проникновенность. Не запечатления я ищу и даже не отпечатления, а впечатления. Не хранить, не воспроизводить, а творить. Вот такой я импрессионист.

Без душераздиранья я обойму взгляд, идущий наперекор моему : нужно лишь, чтобы в нём пробивалась высокая поэзия, или обозначалось тонкое чувство, или играла широкая ирония. Не убеждать и совращать в свою веру мне хочется, а чаровать и обращать доверию к слову, к его атмосфере, к его обаянию. Кстати, то, что

выступает против нас, часто желанно и любо : солнце, бьющее в помрачневшие глаза, встречный ветер в бредовом жару, непроходимая чащоба при чесотке конечностей. Не разувериться в своём (переметчивом !) зрении, не заглушить своего дыхания, не подломить вдруг ставшие бесполезными ноги – только и всего.

С тех пор, как я окунулся в поток твоих писем, в руке чувствуется какое-то сопротивление. Наверное, отяжелевшие словами вёсла не рассекают больше один воздух, как раньше. Отблагодарю тебя за это, *думая* тебя ещё пуще прежнего. Ведь в твоих берегах открылось небольшое, но явно дружелюбное, тёплое течение. Если же всё это лишь тягостная бредь и челнок мой гибнет в полнейшем безветрии, то уж пусть я лучше кану до дна, чем снова свыкнусь с прозябанием в захолустных, враждебных пристанях.

Что делать с этим высокомерным я, не умеющим или не берущимся проявить себя в жалком повседневно? Презирающим многоделье и колоделье, но не обарывающим безделья? Готовым смириться с тупиком, вне заезженных дорог, но шарахающимся от выверенных направлений, под сенью толпы? Оно ищет человека, а не людей...

Во мне уйма восхищения и удивления другими. Без ломок и сделок мне принимается обличье иноплеменников. В эти-то минуты, говорят, русский и становится наиболее всего русским. А нам оттягивают : чем больше поражаешься, тем под больший вопрос ставятся твои шансы поражать самому. А нас уверяют : способность удивляться немного стоит, если в нас самих нет ничего удивительного.

Я за оттеночное побуждение, мотив, а не за кричащее дело, действие. Я верю в предчувствие, люблю размышление. Я вытачиваю форму, не преклоняясь перед нею : я поклоняюсь содержанию, не оттачивая его. И право же, я всего лишь пенкосниматель воззрений, гонитель воскурений и приспешник вздыханий.

Вернёмся к справедливости. Из-за избытка в жилах дикой крови я могу признать за собрата только того, кого встречаю на узкой тропе в человеческих джунглях, а не на измызганных, ярмарочных площадях. Меня воротит от всякого, ладно встроенного в механизм, именуемый обществом. И, напротив, износившиеся, отверженные, неподходящие заинтересовывают. Единственными существами, которым мне довелось быть полезным (и при этом ещё и испытать удовольствие) были неудачники, остальцы и старики. Они больше научили меня жизни, чем сильные и преуспевающие, ибо искусство перенесения боли выше ремесла благобытования.

А как назойлива становилась порою боль. Но надо было твердить и твердить, что и на безболии не построишь счастья, хоть это и не так мелко и нелепо, как искать его в увековечивании раз давшейся радости. Счастье – в равновесии по отношению к нашему желанию. Это избранная орбита вокруг тяжёлой планеты Желания.

Если мы вращаемся далеко от нашего светила, мы не уловим его тепла. Если мы потянемся к нему чересчур откровенно, его притяжение может стать роковым : мы сожжём крылья, отгадаем тайну огня и света, тайну, сводящуюся к какой-нибудь прозаической химической реакции. Не каждому дано то высшее топливо, которое привело бы в движение новую чуткость и вновь запустило бы на спасительную орбиту.

Отступление за отступлением, ничего существенного без них не высказывается. Но на притчу ума не напасёшься. Допустим, что я лишь менял орбиты. В этот поздний час этого никто не заметит.

Что могу знать о счастье я, никчемный лунатик ! Я только знаю, что если ты положишь руки мне на плечи или ещё чуть дальше, сердце выскочит из своих капсул и вознесётся на безумные орбиты, где уже не властны ни часы, ни притяжения...

XXI. Апрель

Непокладистый почтовый ящик клонит долу. В такой-то обескрыленности и взлетают до апофеоза беспочвенности. А тут ещё зазрит волнение и застит глаза : почтовая пустота въедливей удушья.

Во дни, тотчас вослед за твоим письмом, набивается так много всполошённых, дезорганизованных радостей, что за ними, очень скоро, уж не разглядеть самого всполошителя. Он обращается в воспоминание : *ricordasi del ben` doppia la noia*. Твои слова исполнялись таким прозрачным напевом, что тот, кто внял им однажды въяве, уж не удовлетворится их записями и воспроизведениями. В стенах памяти откладываются все истины, но она - камера пыток для наслаждения, умеющего жить лишь в настоящем.

Незавидное зрелище представляю я собой : из лёгких вырываются далеко не мужественные вздохи, да и слова как будто окрашиваются в цвет их настроения, хоть мелом пиши на этой зачернённой странице. Часто я ловлю себя на мысли, что для некоторых слов, бойко лежащих на бумагу, мне не хватило бы дыхания, чтобы их выговорить.

Ты мне стала слишком близка, а всё, что воистину драгоценно, должно бы познаваться издали : только так ещё можно поддакивать, что простор бескраен, небо лазурно и звёзды приветливы. Но между нами перенатянуты струны и отзываются острым и долгим чудом каждому твоему прикосновенью.

Никогда ещё моё неразымчивое я не отрекалось так смиренно в пользу *мы*. Никогда ещё, на весах жизни, чаша надежды не перевешивала с таким призрачным грузом. Никогда так не полосовал по сердцу передел между этой минутой и тем, что будет после неё.

Для одних жизнь – храм, для других – сцена, для третьих – мастерская, – для меня она стала стенами, без истуканов, без личин, без орудий. И при двери то ли кривое зеркало, то ли крест, то ли топор.

Мы будто крадёмся с тобой по разным берегам потока воспоминаний о вживе натекающем будущем. Его стрезень и соединяет и разлучает нас, но не перестаёт твердить то об источнике, то об устье нашего броженья.

Конечно, знай мы друг друга покороче, пейзажи перемолви запестрели бы живей, но ведь у нас есть предчувствия климатов и кой-каких приятных поверий. Писать с натуры, следовать натуре?... – осадков слова и выплесков сердца в день нашей единственной встречи было довольно, чтобы теперь избегать пустынь и не чересчур доверять берегам. Тогда, в первый день нашего творения, нам кое-что не говорилось о Земле, и всё само собой обращалось к закоюмью.

Принимать на веру без знания, может быть, и худо, но убеждённость, стоящая лишь на знании, и того плоше. И не уверений-заверений-ручательств я жду, а пребольшого наития и самой малости... знания.

Не важно то, в чём мы не сходимся и ценим разной мерой. Важнее делить сообща то, чему не назвать цели. Рассчитывай на мою совершенную терпимость в расхождениях, будь это домыслы о гармоничной жизни (в чём я ничего не смыслю) или догадки о клоаках моей совсем не роскошной жизни (в которой я наторён презрядно).

Что такое, это апрельское утро? Это непокой, от которого хоть вой на эту полную луну, ту самую, что накануне баюкала и притупляла вопросы. Вечер – это расплывчатость и незавершённость, когда ничто не кончается, но начинается всё. Здесь я пускаюсь в самые

невозможные предприятия. Со всех сторон подворачиваются ночлежки, и инквизиторы благоразумия пригоршнями сыпят прощи. В это вот безалаберности возрастала ересь моих ночных разговоров с тобой.

Пятнадцать дней, 15 пустот в моей заморской сокровищнице. Вечером жемчужины, которые ещё не затеряны, поднимаются в цене, но утром всё кричит о банкротстве. В этот час меня осаждают проблемы, которые осрамили бы самой проворный из моих компьютеров, но легко разрешились бы в тайнике почтового ящика.

Докричусь ли я до тебя на этих страницах, забытых эхом и охами. Кладу голову тебе на колени, это значит, хочу забыться и снова обрести тебя.

XXII. Апрель

Вот и ещё один сизифов камень скатился к подножию дня. Опять злопахательствует мироед и тунеядец, почтовый ящик, видя по муравьиному надрывающемуся сердце. До чего же камениста наша дружба. На большом пути и малая ноша тяжела. Ты ещё веришь, что июль перевалит за все эти глыбы? Я буду стеречь все караваны, вышедшие из Парижа, что бы мне ни втолковывали таможенные сердцееды.

А пока, уже в который раз, попрошусь на постой в перевалочном дворе по имени Россия. На миражи поэзии не хватает ни хватчивости, ни развёрзнутых глаз.

Нашим большим художникам было всегда невмочь на людях. А как обыденно сопричинялись своему веку их мастера! Подножная жизнь служила их узкосердному искусству: наше сердобольное искусство служило задушевной жизни.

Они сбиваются в кучу, чтобы отстоять личную выгоду. А мы запираемся в четырёх стенах, чтобы распространяться о всеобщем благе. Они своё выкраивают, а вот мы-то промаргиваем чужое.

Среди больного голодом Востока и больного пресыщением Запада, русское слово о второстепенности хлеба звучит или издёвкой или бредней. Бесстыдно-оглядчивый Восток поклоняется случаю, постыдно-суетный Запад – воле, а в наших глазах всякая воля обесценивается случайностью, а случай ценен лишь пробивающейся в нём Волей. Это я уже говорил, как говорил и то, что пульс времени можно почувствовать лишь в желании ускорить его или замедлить и уж никак в насыщении сегодняшней минуты или в утере этого пульса в личном летоисчислении.

На Востоке поучают жизнь заводным звездопоклонством. На Западе сама доморощенная жизнь прописывает наученья. А мы то

ходим в недоучках у утлого своего существования, то начисто его забываем в прекраснородушном далёке.

Одни живут в сосредоточенности, другие в истории, а мы – в стихии, природе. Нам чужда ступенчатость истории и бескрылость сосредоточения. Мы хотим зачать и сформировать иной мир, иную жизнь, здесь, в нашей неделимой, ничему неподвластной душе, не зашоренной наследственностью, не обуженной деятельным завещанием.

У одних больше оцупи, а потому больше кричащей обрядности. У других больше огляда, а потому больше отвлечённых оценок. В нас больше естества – больше неожиданности, уклонения, удивления, готовности к удивлению, а потому мы моложе.

Примитивные народы против норм, потому что не очевидна их немедленная полезность, а для обоснования надо шевелить развитым умом. Для нас же всякое понимание лишь средство, тогда как цель – вдохнуть жизнь в непостижимое. Русского смущает именно польза, ибо всякая выгодность – это подмена сбивчивого, но родного человеческого суда безотказно-строгим механизмом, это отторжение части человеческой свободы. Жизнь, наставляет нас что-то, вещь слишком неразумная, чтобы целиком верить её разуму.

Эти заметы уберегают меня от занятия, противопоказанного маловерам и безвольникам, – от челноченья между почвенным и горным. Сверху вниз идут пророчества, снизу вверх – их двойники, мечты. Чтобы подхватиться им нужна лёгкость, плавность, парение, – где их занять? Когда отпускают первую бороду, часто принимают себя за пророков своей отчизны, тогда как, на самом деле, уносятся случайно налетевшим мечтанием, чтобы брякнуться о дол в конце незаслуженного полёта. Как некуда сесть, так полётом не возьмёшь.

Гонцом моих вестей должна бы быть мысль, если верить нетерпеливым веронцам, но как ни изводи я лоб и телепатию, корысти от того не больше, чем от проводов и почтальонов. Ещё не жаль проговорённых желаний, ещё хватает покоя, чтобы выговорить имя твоё, Настенька, не боясь, что вместе с ним выдохну и жизнь свою.

XXIII. Апрель

Не знаясь бы разуму с чувством, а уж коль сообщаться, то через единственного беспристрастного посредника – иронию. Когда её нет под рукой, в их очных ставках рождаются суммы, дополнения, исключения, премного упорядоченья множества сует с едва различимыми элементами. Тогда только и говорят, что чем ближе мы чувству, тем дальше от разума. Но ирония остепенит разум и оестественит чувство. Иронии, иронии...

И она тут как тут, чтобы наговорить чего-нибудь в пику только-что сказанному. Свет разума неразложим, и твою потребность в красках может удовлетворить лишь сердечное многоцветье. Жара же сердца не отложишь, ни прибережёшь : он слишком *активен*, он опалает, прожигает и язвит все экраны счастья и памяти ; его воспламененья отпечатлит и сохранит только *инертный* разум. Преломливое бытие, как известно, разложит на семицветность боли какой угодно неломкий свет.

Да пишешь ли ты мне, моя славная ? Зовёшь ли другом, ждёшь ли, как месяц назад, гадаешь ли на урывках июля ? Навещают ли тебя всё так же видения, радуют ли, волнуют ? И руки не стали ли жёстче и губы недвижней ? И будущее наше не застряло ли в твоей памяти на какой-то злосчастной дате ? И мартом обогретые страницы не обсмеяны ли каким-нибудь первоапрельским ушатом, от Марьи зажги-снега, заиграй-овражки.

Затем зваться и рваться туда, где не бывает свиданий. Вот и ещё раз я дрогну под часами, под которыми меня не ждут. Я принял за застенок, что было на самом деле проходным двором. Не надо бы ничего спрашивать, не надо бы пытаться отвечать.

Ну уж, конечно, жизнь не свободное искусство. Если вы занимаетесь ею, не нажив холщёвых навыков, она выпроваживает вас из своих мастерских. Она отворачивается, когда сосредоточенные лица превращаются в окрашенные физиономии, когда пальцы дела сжимаются в кулаки желания, когда шаг обыденности переходит в бег мечты. Ей претят чудачки, подбирающиеся к лазури без парашютов опыта и свычки. Она рвётся зачислить в свой цех и тех, кто хотел бы подняться над нею. И считает, что боль должна бы умудрять и умиротворять. Но ты оставляешь меня, мне съёжилось, затужилось, растревожилось, как прежде, и за-сердцем щепы. Жалует царь, да не жалует псарь.

Не зависеть от формы жизни – сродни потребности жертвы. Это что-то такое в нашем жизнепрятии, что учит : если вещественная оболочка твоей жизни надорвётся, если расточится под ногами опора – ничто, или почти ничто, не изменится в твоей душе – и ты узришь, во всей незапятнанности и обнажённости, то, что ранее было переплетено со столькими грубыми заботами и надуманными закладами.

О, эта мелкая жизнь, мешанина обязанностей и накопительств. Бескорыстные жесты, добродушные умонастроения, спасительные убеждения по плечу и тем, кто, по природе, вовсе не щедр, не добр, не мудр. Просто-напросто рамки их существования, как будто бы даже и предопределённого, смогли пропустить кое-что высокое, широкое или глубокое. Но это *кое-что* остаётся для них преходящим, забредшим, неединородным. Измените форму их жизни, добродетелям там места не остаются. Поэтому не стоит умиляться как благоденствующим богачам, так и правдоискательствующим беднякам.

В книге наших дней, осязаемая часть должна быть только иллюстрациями, которые и вырвать можно, ни в чём не умаляя содержания : степени добра, диктуемой душой, и степени любви,

диктуемой сердцем. Сквозь текст надо рассматривать иллюстрации, а не судить о книге по обманчивым и узкомысливым зарисовкам.

Сегодня воображение моё распускается из-под льда. Болезненный выводок сомнений кажет искричавшиеся гортани, а кладезь надежды всё глубже, цепь воспоминаний всё короче. Я теряю к себе всякий интерес. Пальцем меня сейчас тронь, так я шаток, валок, жалок... Пусть дни твои будут столь же прозрачны, сколь мои черны.

Но когда-то же нужно прощаться, пусть это будет вот эта минута. Не знаю, от твоих ли плеч заламываются вот эти руки, в твоей ли памяти отдаётся вот этот голос. Но что бы там ни было, чтобы ни исчезло в этот миг, я крепко целую тебя. Но нужно ли ещё упираться и писать ?

XXIV. Апрель

Если ты думаешь, что в эту ночь моему сердцу отстучать столько же ударов, как и обычно, значит ты принимаешь меня за кого-то другого. Я, само-собой, из медвежьего рода, но всё же не из самого полярного. Я выглядываю в окно, чтобы осведомиться, что нынче за тысячелетье на дворе, и теперь просвещённому сердцу можно пуститься вдогонку за убежавшим вперёд временем.

Но, господи, куда же девались так называемые взлёты и порывы ? И небо это, ещё тяжче пригибающее голову. И те же самые мечты, до этого дня прозрачные и запредельные, теперь наваливаются какой-то взбаламученной явью. Беспорядочны стародавние гармонии, раскаты небесные безгласны, взмахи крыл что вдохи, что замиренья. До чего же природа делает нас серьёзными и высокопарными, когда ей угодно сыграть на нас одно из своих чудес. Можно подумать, что я умираю, а ведь я народился только что !

Кто говорит, что разделённая любовь – подмога жизни, и исполнение новых стремлений, и во всём соглашает с самим собой ? Видно, для того любовь была обузой, поклажей, сложенной, наконец, на землю и высвободившей утруженное сердце. И одними руками он покатит перед собой оземлённую ношу.

Моя любовь, о милая, возлюбленная моя, - моя любовь – но что за геркулесово слово – как взмыть его поверх строчек, как ему прижиться в этой разнопёрстной словесной шелухе ? Слово, всегда звучавшее по-чужеродному, слово, доходившее до меня из тех же далей, что небесный свет, - это слово рвётся сегодня во все словари, во все стили.

Моя любовь – уже столько месяцев она была недвижимой моей звездой, что вела, берегла и просветляла. Я отсылал ей своё неяркое

тепло, ещё не зная, сумеет ли оно пронестись сквозь световые годы, разделявшие нас. И вдруг я открываю, что моё светило обитаемо и что жизнь его излучается одновременно с моей и в том же самом диапазоне. Вздох полуночного созерцателя переходит в дрожь за неисследованную, неведомую жизнь, обогреваемую, о чудо, теми же созвездиями что и жизнь моя.

Нет, милая, навсегда милая, моя любовь не ждала того, что никак не хочет *назваться*, чтобы зажечься и возрасти. Но горение, бывшее для меня лишь светом, теперь заговорило пламенем и сокрушением...

Ты думаешь, за многоточием я перебираю словесное сырьё? Нет, я ношусь, пропитанный зыбями в океане, а на эту страницу выплёскиваю кое-какие, едва не случайные капли. Не упрекай меня за эти дрейфования, я плаваю в виду твоих же побережий. А дыхание перевести мне удастся лишь в новооткрытых краях твоей женственности.

Любовь – через письма? В мире струится столько света, чей источник невесть где или окончательно затерян, знак внеземного происхождения или хотя бы вмешательства. Да и из каких столкновений возникает любовь? Так ли уж неукоснительно обтёсывание о гранях обыденщины для извлечения искры жизни вневременной? Стократ желанней увидеть, как, позднее, эти грани осветятся отблесками таинственного пламени, чем мастерить запроективный факел в полумраке ученичества. Уверенность перед *потреблением* любви – это отрезвляющее снадобье, отзелье перед виночерпием. И уж лучше быть побеждённым, храня свои верования, чем побеждать, следуя лишь знанию.

Для поддельного чувства нет ничего проще проб словоизвержением, тем более, когда никакой другой жест невозможен. Вряд ли словам удастся сегодня протоптать верную тропинку к

чувству. Всё вокруг слишком непроходимо. Но и в буреломной чащобе поджидают не только опасности ; там могут таиться и редчайшие, многокрасочные и целебные ростки. Поверь мне, в такую глубь меня увлѣк неотразимый аромат мирта.

Быть может, наша осенняя встреча заронила в меня лишь несколько зѣрен, но весь цвет, вся свежесть, все грядущее плоды уже заключались в них. И если молодые побеги набрали уже столько силы, то ведь так лелеял меня твой мягкий климат и одарил такой неимоверной леторослью.

Читаю и перечитываю твоѣ невообразимое письмо. Настенька, это волнение передастся лишь глазами : что до слов, я теряю к ним всякое доверие. Сердце ещё не знало этой полноты : ему неймѣтся освободить узника, промыкавшегося по всем его застенкам и уже давно плакавшегося на незаконное заключение. Настенька, девочка, которую я знаю сегодня ещё меньше, чем прежде, тайна моя, чью загадку я хотел бы сохранить навсегда, Настенька, чуткое моѣ тепло – люблю тебя !

Цепь времѣн разрывается от звука этих слов : в моих руках остаѣтся последнее звено, выкованное этой ночью – вот мои губы, здесь ли твои глаза ?...

XXV. Апрель

Я припадаю, моя дивная жрица, к ступеням *кумирни невстречливых влюблённых*, где ты мне назначила свидание. *Скиталичья душа*, навещавшая тебя, живым изваяньем вознесена над жертвенником, доступным, вот уже в три ночи, нашим общим молитвам. Недавние коленоприклонения, в сумраке и одиночестве, ещё так живы в памяти, что режет в глазах от близости света и, ещё больше, от твоего прямого взгляда. И ты предаёшься свету, о котором что-то лишь намекала моя, ох как далёкая, тень.

Чувству без растолкованной причины, встрече без угадываемого исхода – кто ещё доверится в наши дни ? Кто прислушается к звукам, выбивающимся из надёжного и наигранного ритма жизни ?

Часто ищут идолопоклонства, этого занесения в душу привычек ума. Подобно вере, терпимой по сговору между насмешником–разумом и неуклюжищем-душой, чувству надо бы наделить *сферами влияния* и экспансивное сердце и заморское чудо, что его волнует, и не сдерживает, а даёт удержать.

Хранить их независимость и полагаться как на равновесие нежности, так и на неуравновешенность страсти.

Что же такое твой влюблённый ? Я принадлежу к слабым – руки списывают лишь податливые миражи, к пассивным – чаще лба моего увлажняются веки, к скованным – в действии ирония опережает руки, к диким – не выношу сборищ из более двух голов.

Мне не по себе, когда замечаются мои привязанности или отрицания. Истолковывать первые и оправдывать вторые, с равночувствием или без взаимопонимания, означает кощунничать перед первыми и предавать слишком много значения вторым. Я могу

не дрогнуть и перед лицом того, что люблю больше всего, а гнусность оглядеть насквозь, не обмарываюсь суждением о ней. Те, кому доводится скрещиваться со мной на почве слова, понятия не имеют о корнях моих волнений или побегах моей мечты или, вообще, о ветвлениях моей шкалы ценностей. Ты, взъерошенная моя любовь, ты уже знаешь обо мне больше, чем кто бы то на свете...

О, эти спотыкающиеся слова, cedящиеся так натужно и разрозненно. Что сумеют они передать своим металлическим выговором, а ведь чувство так живо, едино и свежо. О, нежный друг мой, за диктовку берётся сердце, безраздельней прежнего, но и ликующие кличи и всхлипыванья заглушаются музыкой без слов, музыкой любви моей.

Люблю тебя, этот гимн, проникший во все поры, срывается с переозвученных губ. Не успел я сочинить к нему слова, а уж он достиг всех окраин, всего, что наделено слухом.

Люблю тебя - это пассионата взглядов в будущее, вываче шагов по Земле, фуриозо желания, адажио удаляющегося отчаяния.

Люблю тебя, эхо, идущее из эпохи пирамид и тянущееся в века великих переселений на планеты, милые Венере.

Люблю тебя, это полновесный славянский голос, построенный на чуткий галльский слух.

Люблю тебя, твержу, декламирую, шепчу перед вот этой исповедницей, крошечной карточкой, протягивающей мне поочерёдно то лоб, то щёки, то глаза. И всеразверзающая радость, кода с неё тянутся полуоткрытые, дрогнувшие, чуть увлажнённые губы – это тоже *люблю тебя* !

И замирающие глаза, и опадающие руки, и судороги в жесте, и параличи долгих-долгих часов – это, по-прежнему, *люблю тебя*.

Но если я прижму тебя к груди, если кровь пробудит всё, что живёт и даёт жизнь, - это больше, бездоннее, чем *люблю тебя*.

Настя, Настюша, Настенька – я слагаю твоё имя, множу твои черты, возвожу, наконец, свою любовь из первоначальной ошарашенности - брани математика, по щади влюблённого – вот жизнь моя, жизнь, по всей вероятности, обречённая надкожному прозябанию, эта жизнь вдруг забила от прилива глубинных соков. Я живу в мятущиеся часы, что оправдывают годы неподвижности. Я живу, как и прежде не зная, как формулируется тайна жизни, - я живу среди её разгадок, ключ един – любовь моя к тебе.

Чем больше я читаю твоё письмо, тем острее комок в горле и растрava в глазах. И то, что будоражит более всего, - это не надежда, не замыслы, даже не смутный какой-то образ – это невыносимо родное дыхание этого письма. Я окунаюсь в него, совершенно обеспамятевший. Я слышу его то непрерывистое, то учащённое биение, я заволакиваюсь дымкой твоих сомнений, и, право же, впервые я заглядываю глубже чем в очертания – в лицо женственности.

Нет, всё не то, всё сбивчиво, мне не выразить до июля то, что значит для меня это письмо. Его размах лучше всего ощутим в сердце, которое я прижимаю к твоему – так ты почувствуешь, отчасти, нежную-нежную правду моих слов. Но знают ли твои губы, в этот час, нежностей потеплее ?

XXVI. Апрель

Отчего твоё письмо тянет меня ежечасно к себе ? Ведь каждое его восклицание, каждый его шёпот уже записаны в памяти нестирающимся почерком сердца. Почему одна единственная строчка перед глазами перекрывает своим ликованием все оркестры памяти ? Как я любил это письмо, как я им лакомился, как им дышал, как всматривался в него, вслушивался и припадал к нему губами ! Не коснулся я его только разумением. Ни благоразумия вопросов, ни отчёта чувству реальности, ни прочерчивания нехимического будущего.

Моя рука теперь не умеет указывать пути иначе как посылая поцелуи. Моим шагам ведомы лишь дебри непроезжих мыслей. Я словно был рождён на острове сокровищ, где не было ни смысла, ни повода обучаться ремеслу наведения надёжных переправ на материки бытования.

Природе тоже захотелось сказать, что моя весна – ты, только ты, ибо со дня твоего лавинного оттепельного письма на Москву навалились вьюги... Но среди зиможителей она уже не досчиталась одной головы, а уж запоздавшей весне никак не обсчитаться одним ранооттаявшим сердцем. Эта природа так расщедрилась с нами теплом, что в опустевших средоточиях понабивались спохватливые стужи, навёрстывающие недавнюю потерю. Снежинки падают и падают на подоконник они понимающе похрустывают ; я узнаю вспышки, окристаллизованные невесомо и тонко, со всем изначальным блеском. Какой ещё бог, кроме выдумчивого Эроса, возжелал бы таких диковинных, бескровных жертвоприношений.

Ты так и не видела ещё заснеженной Москвы. Вчера я увлёл тебя с собой под редкостный снегопад. Тобой осенённый, с тобой в глазах, я

останавливался, чтобы согреть твои щёки, расшевелить руки, затуманить глаза. Я обошёл весь Кремль : Красную площадь, где для каждого русопята время начинает свой отсчёт ; храм Василия Блаженного, караули для любого архитектора и каллиграфия патриотического чувства ; Кремлёвскую набережную с укутанными снегом липами : торжественные соборы за стенами, трубным гласом звучит их насупленное величие ; Парфенон и Пестум – размеренное тиканье часов, Реймс, Милан и Кёльн – перезвон несчётных дудок, Рим и Париж – музейная тишина. Александровский сад, под нависшими башнями, прибежище последних романтиков, старцев и забегавшихся провинциалов. А снег всё шёл и шёл, облепляя кирпичные стены, ещё чётче обрамляя зубцы наверху и скрывая рубиновые звёзды где-то там, в завихрённой вышине. Он опушивал деревья, отдавал им то, что отнимал у людей, - разреженность, мягкость. Я был рад этой второй белой стихии (после бумаги !), соединяющей нас. Она несла тебе мою любовь, что-то рассказывала о твоём дыхании и, тем самым, ускоряла моё собственное. И я любил тебя, потому что, вопреки Минерве, имя твоё было удивительно созвучно пению башенных колоколов : я любил тебя, потому что во всём угадывался тот, единственный в жизни миг, в который мне привелось держать твою руку в своей : я любил тебя за то, что мир начинал приоткрывать преддверия, за которыми, наконец, ждут моей нежности.

Круг существования почти замкнулся. Любить было для меня призванием. Я лопотал себе это без конца и возился, между тем, с математикой или, в лучшем случае, с какой-нибудь Элоизой или Вертером. И вдруг ты, любовь моя, чудо моё, я обращаюсь к тебе, на удивление самому себе, на том самом языке, который растревоживал мои студенческие ночи среди кропотенья беспомощных стихов или зарыванья в родственного поэта.

Если и есть минуты, в которые я не думаю о тебе, то это те, когда я думаю *из тебя*, стараясь увидеть твоими глазами свой лепет, свои признания. Боюсь, что среди тех, кто ничего не понимает, ничего не *слышит*, в день июльского свидания, я буду среди первых.

У поцелуя, который я тебе отсылаю, нет нужды колебаться между безымянной дружбой и тем, что ты научила называть. Чтоб доказательнее быть у устья-уст, я достигаю самой большой прозрачности у источника.

Если бы ты знала, как счастливит меня твоё видение июльской первой встречи. Да, да, не надо слов, не надо вступлений, не надо обязательств – только молчание, только глаза в глазах, руки в руках, и может быть, немножко губ. И мы одни, пока вздох или слеза, неважно, не пополнит круга.

XXVII. Апрель

Вот уже месяц, как сердце, без предательств и посредников, выводит и питает запинаящиеся слова. А они, всё худосочны. На одних сладостях лишь заардеться, не орозоветь, а диеты недавнего колебания и предисловия обескровили безработные губы. Тебя мне не хватает, вкуснящей. Да возможно ль, что ты больше не пишешь. Ну хотя бы для того, чтобы как-то упорядочить это извержение, бьющее вот уж в 32 дня ($32=16+16$ – в отчаяние меня вгонит скорей арифметика, чем скудость грамматик и постность слововедения !)

Но вот и пришла пора проститься с сердцем. У его начала, одна крошечная парижанка, дивногубная и ясносердная, растеряла по бумаге горстку слов, тут же озаглавивших целую жизнь, ту самую, которая в месяца и месяца обрекала себя туманнейшим предварениям без малейшей завязки. *Alle verschwiegene Wahrheiten warden giftig.*

Вот уж месяц, как наше падение – нечто большее, чем подчинение законам сердечного притяжения – нас осенило крыльями. 30 дней, моя хорошая, подведших нас, наконец, к тому самому источнику, от которого шли уже самые первые шаги. Вот к этой полноте, где всякое добавление умещается всё в одной и той же, неизменной единичности.

Но почему не поворачивается язык, чтобы сказать самому себе, что и ты любишь. Любишь эту тень, отбрасываемую сквозь крохотную щель почты и словесных удач, любишь тень, сумевшую что-то удержать от света. Боже правый, да мне стократ слаще быть любимым как призрак, согнанный с заоблачья, чем как землепроходец, усаженный в своём наделе.

Так уж пошло, что ошалелые счастливицы, вроде моего, изъедаются желанием растрезвонить своё ликование, поделиться своей переполненностью. А я, наоборот, забиваюсь ещё укромней в самого

себя, в тот потаённый уголок сердца, который – о чудесный друг мой, подскажи верное слово – который принял в себя клад заморского тепла и трепета, твою любовь.

Прежде я впитывал в себя всё, что докатывалось от разлившейся по Земле любви. И эта неясная нежность растворялась во мне. Теперь словно растворён я сам, растворён во вселенной, возвращённой нами из одного сентябрьского атома.

Улыбки судьбы развращают душу, но именно по ним судят о том, чего мы стоим. То, что мне более всего дорого в самом себе, не вызывает никакого сочувствия в других ; поэтому меня не разуживает от удач, заработанных не на подлинном, не на единомысленном моём я. Ты же – чистый сосуд под моим сердцем. От твоего скифа тебе изливается лишь то, что в нём самородно сгущается, - это не выжимки ума, это как сны коротающего ночь чувства, непоследовательные, но такие живые.

Зачем я стану расписывать свои занятия и расписания, вольности и стреножия. Мне не подобны никакие наброски, чтобы писать мою любовь во всю ширину напряжённого полотна жизни. Если на нём и остаются намётки красок и контуров, но добавляют они лишь груза и толщи, не многоцветья и не рельефности.

Вспомни вместе со мной сентябрь : наше предпоследнее слово о художнике, последнее слово о поэте, потом рукопожатие, ещё одно, ещё..., предпоследнее, и наконец, твоё, которое продлится едва-едва дольше остальных, но этого хватит, чтобы понять, что где-то встают циферблаты, ещё не знавшие над собой стрелок и ждущие первого завода.

Тихая грусть подвигает понемногу эту беззвучную ночь. Только изредка имя твоё всполохом срывается с губ. Я вижу тебя, задумавшуюся над страничкой, похожей на мою. Взгляд падает на

твоё тело, и то ли это дрогнувшая грудь, то ли откуда-то взявшаяся нега, но что-то же должно было вызвать эту слезу любви и ... одиночества.

XXVIII. Май

Твои книжицы изрядно попутешествовали, прежде чем попасть мне в руки, и заполнили, наконец, зиянье, отравлявшее мой почтовый ящик с того счастливого апрельского дня. Моя любовь бродит, крепчает, я всё ещё опьянён ею в осмеяние прежней моей утешительнице, рюмке. Не беда, коли всплеск её переметнулся через край, вот здесь, около ещё не вскрывшегося подмосковного пруда, где я пишу тебе.

Я размяк под солнцем, под птичьим щебетом, под этой любовью, тянущейся к тебе, мой солнечный, хорошенький, щебечущий дружок. А я-то боялся, что под тяжестью влечения взгляд соскользнёт с твоего сердца – первой остановки во всех путешествиях в твои края – соскользнёт на грудь, и там растерявшиеся губы сложат своё пламя, и ластящиеся щёки заплетутся среди полированных берегов, и случайно нашедшиеся руки найдут пристанище, которое сулит лишь высокие приливы. А я-то боялся, что опадая, достигну твоих колен, лишь покрыв длинными желобками поцелуев две беломраморные колонны. Боялся, что губы прильнут к фризу желанного храма и не оставят его, пока не сорвут с твоих губ призыва...

Бегу, бегу, любовь моя, из опасного этого леса. Но пусть твоя нагота будет сегодня такой же доверчивой, как недавнее обнажение слова.

Устремившись к тебе, я, как будто, увлёл за собой и красоту, и добро, и поэзию. И сложил их в тебе, у входа, на видном месте. Они поселились в тебе, ещё более живые, преданные и общинные. И быть с тобой стало, одновременно, и быть с ними. Ведь человеческая природа такова, что если мы способны применить зло, защищаясь, мы

озлимся однажды и по своему собственному почину. И если мы испытываемся злой судьбой, предаём прекрасное, мы, рано или поздно, отвернёмся от него, в пользу самого мирного уродства...

О радость моя, о милая, о лёгкий вздох в тяжёлой моей груди, ты здесь, любовь моя, свет мой, жизнь моя. Я вернулся к себе, а здесь письмо, многоточия, ты, ты, так безоговорочно ты, в этом душистом вертопрахе-конверте. Да, да, я, близ моей возлюбленной : мы, мы вдвоём – друг перед другом – однажды – скоро – наверняка ... Со всех сторон сбегаются предлоги, теснясь меж *друг* и *другом* и расправляют забурлившее воображение. *О* - надежда, *в* - вера, проникновение, *рядом* - очарование, *к* - головокружение, *под* - самозабвение, экстаз.

А вот и после женеvского исповедника ты присылаешь мне русского брата. Да, конечно, я люблю его, этого ироничного стилелюбца, признающего мне : *je porte en moi la mélancolie des races nordiques, avec leur instinct de migration et leur dégoût inné de la vie qui les faisait quitter leur pays pour se quitter eux-mêmes*. Он говорил о взявших Рим. Теперь же вернейшее средство завладеть им – подкормить его гусей, так что лучше нам, современникам, искать крепостей повызывающей, и для чести, и для сердца.

Прощай же, ты, кого обожаю, ты, теснящая апрельской любовью эту майскую душу. Ищу всё твоё существо, обнимаю всё твоё тело – сумей любить меня сотой долей их невысказанных ласк и хотя бы одно мгновение – я был бы счастлив – до тех пор, пока не поймёшь, что долгой привязанности я не стою.

XXIX. Май

Облечь бы тебя только незапятнанными словами, только непоставленным голосом... Так перебиваться сейчас, чтоб в июле преуспели в этом искусстве пока-что такие ремесленнические руки. О, это, конечно же, безошибочно ты, моя незабвенная...

Вот уже три часа, как я прикован к креслу, и руки висят, и глаза теряются. Мне за нас страшно. Я думаю об иллюзиях, которые расточаются, не оставив тебе ничего, кроме горького привкуса в сердце. Я чувствую себя попустительствующим, безалаберным шалопаем. Всё это – твоя телеграмма : *Люблю тебя, люблю...*

Два слова, точащих глаза и вызывающих самые нездешние образы. Сначала - ошеломлённость, затем – счастье, наконец – тревога. О чудная, о сладкая моя, смогу ли сделать так, чтобы длилось чувство, которым ты сегодня меня одаряешь ? Не гожусь ли я лишь для начал и завершений ? Всё среднее, промежуточное, не отталкивает ли меня ?

Нет ничего вернее, прозрачнее, проще моей любви. Она прозрачна, как слеза, верна, как следующий восход Солнца, проста, как моё дыхание. Но девочка моя, Настенька, в моём существовании нет ничего устойчивого ; моё видение счастья не оправлено ни в какие перспективы ; в моём подходе к жизни нет уравновешенных композиций, а в уме – убедительных декораций.

Скорее растронжирить всю многоприбыльность счастья, чем извлечь наружу бессознательно живущий во мне его задаток. Скорее нежить тебя как выдуманный, совершенный образ, чем разбирать, проходить на тебе всю многоущербную грамоту житейского довольства.

В царстве мечты чувство ценимо без сравнений, сопоставлений и контрастов, но во плоти и яви упиться любовью нельзя, не зацепив, хотя бы краем, тенет жизни. Всё во мне готово любить, но ничто не научило прокладывать шаги нашей любви по незащищённым переходам бытоустройства.

Но не много ли этого, уже самого по себе, - так ясно и нежно любить тебя...

Как бы я жил эти дни без тебя ? Теперь это самая безразличная и немислимая вещь на свете. Я живу и воспоминаниями о тебе, и твоими письмами.

Поутру твоя улыбка открывает мне глаза ; я тянусь к тебе ; мои сны обвивают твоё лицо, руки, любовь твою : меня влечёт в пределы твоей нежности, к зачаткам твоей глубины. Сколько раз на дню я вскрикиваю или застываю на месте – твоё присутствие так неподдельно, так явно.

Вечер безапелляционно ведёт меня прямо в июль, я кочевряжусь, я мигом вталкиваю в несчастную голову первую попавшуюся дребедень, лишь бы уберечься ; я знаю, что день, когда я доверчиво наброшусь на картину нашего свидания, откроет череду таких сердцебиений, что я изойду тоской задолго до нашего доброго июля. Вечером мне бы гладить твои белокурые волосы, щёки, и быть настолько мягким, чтоб забылось всякое сладострастие. Последнее прости – уходящему дню, это снова твоё имя. И этим же именем вскоре выпестрятся и оживятся лучшие сны.

В самом крайнем обездолии я не осознавал какой-либо своей исключительности : все беды похожи друг на друга, как тени от одной и той же препоны (судьбы ?), в разные времена дня. Как ни жалуйся долготу или густоту твоего мрака, всё сравнивается высшей перспективой.

Среди прочих причин, скудость жизни уводит от поголовной прозы жизни. Заслуга бесхлебицы в том, что она, яснее, чем в хлебном крае или в хлебный год, открывает нам, что мы живы не хлебом единым.

Бог с ними, с бедами, но счастье моё, о необыкновенная моя, - это внутренний свет, ни с чем не схожий и высветляющий самый неподражаемый, самый живо-человечный мир, мир нашей несмелой любви.

Чувство, как и воображение, должно бы сгущаться, а не растекаться, чтобы его детище, счастье, было живуче и убедительно. Чувство и ирония творят великую литературу воображения : бодрость духа и воображение создают грандиозную жизнь чувства.

Сколько бессвязных, жарких ласк не покидает сердца и не сходит с языка, не найдя словесных ступеней. Для тех, кто любит, молчание в такие минуты – это инфракрасный свет чувства.

Люблю тебя, моё нещечко, и так хочу, изловчась, вложить в каждое слово то поцелуй, то какой-то огонёк, то оклик, то вздох...

Я уезжаю из Москвы в середине июня и вернусь к самому твоему прилёту. Пиши мне : Москва, В-234...

XXX. Май

Что ты наделала, любимая, что ты наделала... Ты задушишь меня этим счастьем ! Я вне себя от этой нежности, от этой женственности ! Любить тебя ! Я буду любить тебя, пока не развеется во мне последнее представление о прекрасном ! Вот оно, письмо твое ! Что за ласки, что за дыхание !

Что за рецепты ты заготовила ! *Улыбка* - сквозь счастливые слёзы, моя нежная ! *Шёпот* - сердце разрывается от захватывающих угадываний ! *Поцелуй* - всё во мне стонет от любви, это последний бросок, увенчание, забытьё. *Взгляд* - мы читаем, нет, мы пьём в глазах друг друга отражение, отпечаток нашего счастья.

Быть может, в прошлом я люблю тебя с большим идеализмом, в настоящем – с большим пламенем, в будущем – с большей нежностью...

Один вид твой, любовь твоя, подменяя мою полярную кровь. Она разыгрывает всякий раз, как какой-нибудь схватчивый случай ставит нас друг перед другом. Но во имя моей любви в будущем, доверим только июлю всю силу моего желания, не рассеем его по растратчицам-страницам.

Апрель открыл мне то, что я знал лишь как книжную аксиому – чарование женской любви. В мелкой жизни принимаются лишь её эрзацы : тяга подспорий, налаженности, или бесхитростный позыв пола, страх одиночества. Я горжусь твоей любовью, чудо моё, горжусь перед годами, в которые я, тоскуя, превозносил женщину, ещё не вняв ни её теплу, ни её красе, и ещё не перечеркнув в ней ни жизненности, ни веры.

Наша общестадная жизнь – бледное и изнаночное воспроизведение жизни, любви. Любовные жажды возвышают, жажды жизни унижают или принижают. В любви знают ещё до того, как видят : жизнь, не видя, стушёвываается, теряется. Жизнь любви вдохновляет художника, любовь жизни–деятельности подвигает мещанами и плебеями сердца. Нелепица, безрассудство в стране любви мне дороже мудрости в пустыне жизни. Будем лучше каторжниками взбудораженной любви, чем подсмотрщиками за выровненной жизнью.

Сцена жизни широка, действие захватывающе, вакантных и легко заучиваемых ролей сколько угодно. Все к ней примешиваются и принимают всерьёз её декорации, все монологи (в особенности те, что декларировались в последнем действии главными героями), всем известно место для рукоплесканий, замираний, плачей и пеней, все считают очевидным смысл завязок и последней из развязок.

На галёрке, я собственными красками переписываю случаи разыгрывающейся передо мной жизни. Душа же большинства настолько бесцветна, что автоматически принимает окраску случайной вещи, их коснувшейся. Хорошо сыгранное или хорошо поставленное горе может ободрить больше безобразной отрады, без игры идей.

Мне только что передали, что на почте ждёт твоё письмо. Горю, бегу – ты возвращаешь мне вкус к жизни, о вкуснющая моя...

Живо-живо, взгляд на первую строчку, там нет *Как сударь, вы...*, на последнюю – там нет *Будьте же здоровы...*, и теперь я бросаюсь в твои объятия, в твой жар, в эту животворную лавину.

Всё в том же подмосковном лесу я хочу танцевать с каждым деревом, чтобы за его стволом сжимать любимые руки, чтобы поверх его ветвей целовать заждавшиеся губы.

Почему-то больно от возможности счастья... Губы покрывают тебя такими оттисками, что никакая до- или после-историческая пещера не сможет соперничать с гротами твоего тела ни богатством рисунка, ни искусством сочленений, ни бойкостью красок. Дай вдохнуть твои локоны, которые вскоре склонятся над этими-вот книжонками. Читай их, моя разучёная подружка, а я примусь тем временем за чтение широко раскрытой книги нашего весеннего торжества.

Я всё живу с впечатлением, что пора родиться первому нашему слову, пора родиться первому шагу, пора прервать это бездонное молчание.

XXXI. Май

Я вижу, моя хорошенькая, что письма мои стали чуть проворнее, чего не скажешь, увы, о твоих. Они безусловно, взрывчатее моих и требуют больше бдительности у таможенников. Мои же подмочены крупными каплями со лба, тягающегося с галлицизмами.

Не ставь больше, пожалуйста, вопросительных знаков над моими *желаниями*, я рассчитываю на их восклицательную силу, дай только добраться до июля. Пока же, каюсь, и это письмо рискует отхватить пальму терпения и пустооголубливания.

Я люблю тебя как-то лихорадочно. Вчера я был само равновесие : перебирал твои волосы, наперебой расписывал свои путешествия, дышал на твои застуженные руки, укутывал нас мягкой и прозрачной грустью. В иной раз вся чувственность взбунтовывается и изводит меня, дразня самыми неслыханными празднествами. Губы хотят зажечь всё, глаза – сгореть под всеми огненными дугами твоего тела.

Часто вокруг нас распускаются ореолы : нас сопровождает то соловей, то гром небесный, то органы ; твой паладин трепещет от счастья, касаясь края твоего платья ; сердце разрывается, когда наши руки находят друг друга ; я провожу часы за часами у твоих колен...

Всё предстаёт в ином свете ; лишь только я берусь взвешивать все перевороты, путчи и ниспровержения, подстрекаемые брожением в любви. Без тебя я собьюсь, распадусь, обезличусь. Наша встреча была космическим совпадением, выпадающим на долю избранных, только один раз. Я ждал тебя столько лет, чтобы сложить у твоих ног всю неистраченную нежность или же осознать всю спасительную беспочвенность голой надежды.

Я не свыкаюсь со своим счастьем, милая ; я пламенею от каждого твоего влюблённого слова, и в каждом письме из Парижа предугадываю переломы и кануны. И даже ревность наведывается ненароком. Она сродни страху смерти : безосновательная, она сокрушает нас, обоснованная, она бесполезна – и всё те же люди ревнуют и страшатся. Посмейся надо мной, но шепни мне что-нибудь ободряющее. В духе того, как задабривают леденцами мальчугана, запросившего себе всю Вселенную.

Я люблю, как в наш век уже не любят. Будут любить решительнее, откопают больше удовольствия, сломают больше преград, окружат большей предупредительностью – но никогда не добьются этого запечатления в сердце, которое, само по себе, и возвышать способно и в жертву приносить.

Посмотри на меня : только взгляд может приоткрыть тайны души, только молчание может соединить два надтреснутых сердца. И чтобы сделать её ещё полней, впусти мою любовь всюду, где бьют ключи слов, муз и эроса.

XXXII. Май

Да разве мог я предугадать, до нашей весны, что и издали любовь изъясняется стонами. Я держал в руках твоё новое апрельское письмецо, я не решался вскрыть его, какая-то клокочущая боль шла горлом, отсылая тебе последние мои ласки, - а вдруг, на этот раз, ты отворачиваешься от меня.

Временами я не очень-то мягкосерд. Мне всё любо в тебе, даже твоя боль. Такое изуверское удовольствие – видеть, что и тебя мает любовью. Ты говоришь о зловещем строе мыслей, а я ликую вместе с силами, заострившими твою чуткость. Я покрыл бы тебя поцелуями, которые ужалили бы, укололи. Мои объятия вырвали бы у тебя стон, а не улыбку. Ты почувствовала бы, как в тебе вздымается мое счастье : я вдохну, я внесу его в тебя руками, губами, всем. Мы построили бы наши сближения, слушаясь биений в том средоточии, где твои руки ещё умеют вести нас, где скрещиваются, погружаются мои взгляды, взвихрения и вздымания, где нас соединяет пламя и дрожь, лепечет о каком-то стыдливом счастье, отрывает от Земли и поёт, поёт, поёт...

Ты стала неизмеримо больше одного месяца беспамятства или двух новых точек на глобусе. Ты перевешиваешь порой всю мою жизнь, не говоря уже о чуждом этом мире вокруг, - и вся эта властность исходит из твоего, заполнившего меня существа. И я одинаково упьюсь доверчивостью твоей души, как и исповедью твоего тела. Последний твой сладчайший поцелуй, я возвращу в стократной мере, по сласти и крепости, июль уже так близок.

То, что я знаю о тебе, то, что ощущаю в тебе, то, что единит меня с тобой, - всё это защитит мою любовь от любой озадаченности, из тех, что могла бы преподнести мне твоя жизнь в июле.

Страсти гложут так быстро не по непреклонному року, в плену привычек и нуды буден (на привычку есть отвычка !), но потому, что в ночь жизни входят со светом первого и лучшего своего чувства в руках, и тем сквернят и опошляют его. С его помощью или потворством норовят приискать наиболее ясное благополучие, вместо того, чтобы закрыть глаза и хранить потаённые мечты, воспоминания о светилах, не знающем черноработанья.

Последний взгляд на ядовитые испарения сомнений – и мы взлетим, держась за руки. В слабые минуты и в слабых местах эти злосчастные сомнения всё же пилят и подтачивают, как распинаемого назаретянина, *the dull revenge* датского наследника или *die Leiden des jungen Werthers*. Между этими философом, самокопателем и влюблённым общее то, что в решающий миг их судьбы они охвачены сомнением.

Что за слёзы наворачиваются на твои глаза ? Дай утереть их моими губами, или, лучше, давай смешаем их с моими. Что мне жизнь, что мне будущее, если я уже узнал твою любовь, любовь правдивее всех книжных заклинаний, выше всей моей безгнёздной и слабкрылой фантазии.

XXXIII. Июнь

В какое бы лихолетье ты ни выпала из жизни глаз, я буду хранить тебя в себе, для моей же любви. Из твоего образа я должен сделать единственный светильник, единственный очаг жизни заглазной. Нет, я должен подавить всякую тоску, отвернуть глаза от пустодневья и направить их в душу, где ты будешь всегда наяву, всегда единственная, всегда красивая, всегда любимая.

А у оставшейся со мной Настеньки я попрошу, чтобы иногда её голова очутилась в выемке моего плеча, чтоб веки её иногда вздрагивали от моего дыхания, чтоб глаза её вставали в сумерках моей памяти, чтоб имя её опечатывало безмолвие моих губ. И какое это будет молчание, оно заставит умолкнуть все шумы жизни. И что это будет за ровный пульс, ему будут равны все заснеженные вершины и глубины жарких кратеров.

О, эта невесомая любовь, вдруг тяжелеющая всеми кандалами разлуки. Я теряюсь, я пропадаю, я околесован ожиданием, я мучу, наверное, славную апрельскую ясность. Тому, кто падает и при этом не завидует устоявшим, самым падением, быть может, даётся желанная устойчивость, но я хочу остаться во взвеси, в паденье, не касаясь ни дола, ни гори.

Пусть моё сумеречье окажется лишь проходящим облачком в открывающемся перед нами небе, без конца и без края. И тогда да грянет ночь в уме ! Да грянет день и долгий час и долгое пламя в глазах, руках, желаниях – всюду я нахожу сияние и блаженство ! О искусные ласки, о руки твои на моих щеках, губы мои, утоляющие не свою жажду у налитых ключей.

Месяц ожидания впереди. И вот уже две недели, как ты не стучишься в мой почтовый ящик. Не знаю, какое из ожиданий

подталкивает больше : ожиданье ли июля, ожиданье ли твоего письма. Мои собственные кажутся мне теперь одержимыми, болезненными, невыразительными.

Видно, и впрямь, любить значит разучиться жить. Любить значит дойти до истока нашей вулканической природы, сжечь там все обличья и взывать извержений, не имея больше сил ступить по потухшей жизни.

Любить – это логика бредящих радостей, недоказуемых тревог. Любить – это то, что отзывается во мне, когда я зову тебя. Но где и как ты живёшь без меня, целый месяц ? Что случилось с чудом любви, которая оживила такое далёкое, испепеляющее, безмерное счастье, звавшееся ещё так недавно моим ? Приди же с загадочными объятиями на мою грудь или с разгаданным сердцем в мои мысли. Жду тебя, тоскую по тебе, люблю тебя...

О это пресловутое смирение любви, как же я ему поддаюсь. Склоняю голову как можно ниже, чтобы мой свет не давал никакой тени, чтобы руки твои натолкнулись на меня, у ног твоих.

Самые чёрные, безрадостные дни. И возможно ли, что это дело твоих рук ? Тех рук, что, как прежде, ласковы со мной во снах. Но что за пытка, право, быть одержимым образом жизни без тебя. Что за пытка обнаруживать, что она становится бездуховна, пуста. Где моя хваленая независимость, ведь я облакаю твоим именем всё, что предназначено мне, даже мою пустоту.

Но если всё же ты, по-прежнему, со мной – нет, так высоко не удаётся поднять голову... В эту минуту я счастьем чужак. Оно унижает меня своим уходящим величием, сковывает пропастями, развёрнутыми меж нами.

Будь счастлива, добрая душа. Тебе понадобится счастье до небес, чтобы окупить моё жалкое паденье. Но и здесь моя любовь

благословляет день, в который я встретил тебя. Не моя вина, что с такими-то крыльями, я пресмыкаюсь в низинах безотзывчивости и безнадежья. Всё во мне достаточно окаменело, глаза повернуты внутрь – тебе не будет страшно от этих слёз...

Двумя часами позже. Нет, на этот раз, хотя бы для острастки новых самозванных сомнений, я не выброшу этого хныканья, а ведь в руках у меня письмо, книги. Я дышу, я слышу, как что-то скатывается с сердца, я замечаю прохладные слёзы на вдруг загоревшихся щеках. А вот и последняя строчка. Я поднимаю глаза, я в университетском дворике, на скамейке, на меня косятся с пониманием и состраданием – ещё один бедолага сгорел в сессию. Что ещё им думать – блаженная улыбка бродит по лицу назло и наперекор слезам. Вокруг клочки конвертов.

Угадай, разгляди за всем этим невзрачным, плебейским отрепьем языка всё, что, в этот миг, на него так отчаянно просится! Пригвождён, оглушён твоими ласками; слова отказываются служить, бросают свои посты; всюду бреши перед захватническим счастьем. А тут ещё твой ночной набег, ты застала меня безоружным, светлая моя, опасная моя. Заново ты отвоёвываешь для меня и веру, и забытьё, и даже смех. Лети же ко мне, в мои мечты, в мою жизнь, о девочка моя любимая...

Ещё строчка перед отъездом, ещё один взгляд, ещё один поцелуй твоему такому временному письму. Видеть меня *одушевлённым, безотчётным, страстным* - как это будет просто, милая, когда этого захотят твои глаза, речи...

XXXIV. Июль

Я в Крыму, а отсюда, во времена оны, было рукой подать и до галльского юга. Мне всё не хватает словарей, чтобы сладить с потоком неологизмов, хлынувших в чудо-брешь твоих писем. Сердце заходится, сердцу не до переводов, сердце у первоисточников, у оригиналов. И эти открытия – мне. И эти ласки, подсмотренные так во-время закрытыми глазами, эти ласки – мне ?

Не обращай внимания, о крошечная моя безмерная, на смехотворность этих раскричавшихся строчек. Верь, моя любовь встанет в рост твоей растущей нежности. Верь, мои губы, подстёгнутые твоими, сумеют стать верными подстрочниками чувства.

А пока, что делать богатству в груди с нищетой глаголов ! Но ты уже знаешь, моя нежная, как я люблю тебя, ведь я увлекаю тебя во все ночи, а в них нашей любви так просто обгонять неспешный июль. Ведь я и осаждаю тебя, так сказать, тобой самой : твой образ беззастенчиво выселил всех обычных посетителей моих подпольных размышлений. И всё течёт в несглаженных импровизациях, как-то незаученно и ненаглядно, словно я только-что прозрел. Оттого порой и скрывалось на близорукую серьёзность. А как бы мне хотелось легконравия, чтоб близ меня тебе давались покой и улыбочивость ! Но чтобы судить о нуждах нашего отдельного покоя, подождём разделённого истощения.

Как вырваться из адского круга почтовых ящиков ?

Вечно ли тащиться по нему, так и не видя ни берегов, ни переправ ? Ах, почему мы оба не эскимосы, не цейлонцы, не норвежцы ! Как бы просто стало нести эту любовь ! Я смог бы видеть поздний свет в твоём окне, я бы размыл слёзы твои на тротуарах, я подстерегал бы звук твоего голоса за стенами твоего дома.

Любить тебя – это надежда, которая будоражит, случайность, которая завораживает, свобода, которая укрепляет, тайна, которая породняет. Боже мой, говорить о любви к тебе, не раз не поцеловав тебя, не увидев ни одного влюбленного взгляда в твоих глазах – как же далеко зашла наша беглая встреча ! И не зная тебя, я тебя вижу, моя ясная, я тебя ощущаю, моя пылкая, я тебе верю, моя пророческая.
Qual che l`uomo vede, l`amor` gli fa invisible e l`invisible fa veder l`amore.

Я вырываюсь из хлябей тревог и ожиданий, я цепляюсь за руки твои, чтобы струить сладкий любовный бред. И как же я покоен, хоть меня вяжи. Ночь, что близка, не быть ровнёхонькой. Губ твоих, губ. Настанет утро, но утро, которое будет больше чем прелюдией дня, утро, когда по какому-то образуемию мы скажем друг другу *До свидания*. И ночь, длинная как вот этот песчаный пляж, и мы, струящие меж пальцев и между чего там еще – все песчинки забытья.

Последние строчки, любовь. Нежная, славная, чему мы близимся, что-то мы увидим там, что-то вынесем, сохраним. Быстро, быстро, поцелуй, ещё уверенные, что на них ответят. Летите выше, выше, слова любви, - ваш перелётный приют ещё не разорён, не выветрен.

Последние строчки, моя единственная... Что за прощание ? Кого разлучают ? Не отпускаю руку твою, не отрываю глаз от твоего лица, и губы наши сливаются еще крепче. Прощайте, образы, подвешенные в воздухе. Но всё же прощай, ты, безтелесный голос моей первой весны. Если ты и вернёшься на эти страницы, это будет совсем новое поколение радостей, всё умеющих, всё знающих. Если же от тебя отвернутся – но не до сумерек сейчас, так близко от полдневного июля. Свет мой, любовь моя, ты просветляешь, ты обогреваешь меня, дай мне донести эти мгновения до пустот бессветных лет...

Последние строчки, моя сладкая... Рядом со мной ни мира, ни стрелы, а топор, да пила, да гвозди. В такой компании моё перо чувствует себя настоящим патрицием. Я прошу его расцеловать тебя самым невеличественным образом в самые царственные места. О цвет писем твоих и гроза июля. О плоды, обещанные весенней горячкой. И не первое ли объяснение в любви я тебе пишу сегодня. Но не слышал ли я уже как ты говорила о счастье ?...

Они придут-таки, эти последние строчки, о Настенька моя, любимая моя. Смятение осени, тоска зимы, счастье весны – все они несут свои надежды этому скромному лету. Новые времена года останавливаются на пороге июля и ждут своих приговоров. Что я писал в первом письме ? – *умнепостижимая надежда* - я уже надеюсь, верю, ибо я коснулся тебя, любимая...

XXXV. Июль

Ты всё же вернулась. Что сказать о свете, когда я им пронизан, а чтобы оглядеться, надо делать шаг вовне, где лишь тьма внешняя. А я-то хотел сказать тебе сегодня : иди, любовь, и жди того, кто умеет постоять за успех своего чувства. Не боец я вовсе. Как всегда, слова пусты, до уродства, до тонкости. Что проку, что так тесно в сердце.

Вот эти строчки, о которых ты попросила, хоть до отъезда у нас ещё целых пять дней.

Чтобы сказать, как счастлив, мало всех написанных и будущих писем, но, к счастью, то, что яснее и полнее всего меня передаёт, нуждается лишь в двух словах – они прыгают тебе на шею, заглядывают тебе в глаза, ищут твоих губ, тянутся к твоей груди, узнают твои ноги, тебя, мою милую, нежную, - люблю тебя !

XXXVI. Август

Брожу, брожу по выжженному дому,

Унявши дрожь,

Но тем лишь я сродни ещё живому,

Что ты живёшь.

И только там ещё мне внятны тени

Вещей пустых,

Где отзвук слов и гуд сердцебиений

Ещё не стих

На тень надежды, милая, нанижем

Беды звено,

А как ему распадься под Парижем

Мне всё равно

Мне всё равно, что веры не обрмить

Моим стихом

Она идёт за стынущую память,

Где мы растём

Растём за век, где вдруг единовеца

Нашла любовь

Растём, как нам подсказывало сердце

И скажем вновь.

Настя, Настя, моя далёкая Настя... Не верь этим слезам, любовь моя, верь тому, что они оплакивают, тому, что нам приоткрыла жизнь, верь нам.

Руки устали сжимать твою тень ; губы пересохли, зовя тебя, зовя твоё имя в этой пустоши : глаза расточились, напрасно ища тебя, напрасно стараясь восстановить твоё лицо, обрести тебя заново, ещё раз, ещё раз, вот здесь, где ты была ещё несколько часов назад, о любимая, о нежная, нежная...

Я брожу с места на место : здесь она протягивала мне руки, здесь она улыбалась, здесь наше дыхание обрывалось, здесь я был счастлив, счастлив, здесь я начинал жить – нет же, я люблю тебя, люблю тебя – жди меня, жди – и из этих нелепых рыданий мы выстроим столько радостей. Бессилие это предвещает силу, торжество, о единственная, о бесценная.

Пойми, я не смог выйти из дома, не обошёл нашей Москвы. Глаза меня не отпустили ; они впиваются во всё, что ещё хранит тебя, тебя, ушедшую, тебя, которую я больше не вижу, горько, горько, горе, горе в хрипе и стоне, о, я люблю тебя.

В этот час мы могли бы отдаться молчанию и заставить, в который раз, говорить глаза. В этот час моя любовь подсказала бы, может быть, несколько слов о нежности, о забвении. Надежды, о время без края, без крыльев, без крови, - надежды...

До июля я касался тебя душой, сегодня я познал тебя глазами. Недалёк я был, недальновиден, заблуждался глупо, слепо. То, что обещало созерцательное, невещное, образное счастье, заносит меня на страшную высоту, заговаривает об ущельях, о расселинах, об остроте камней.

Я счастлив, сердце приподнято и тянется к твоему сердцу, чтобы, не дотянувшись, предаваться уходу за запущенными глазами, предаваться мечтам и одиночеству...

Идя на почту, я остановился на месте нашего первого свидания, у Ломоносова. Утешь меня, любовь, ведь мне остаётся только сто шагов, а я не могу тронуться с места. Да, возможно ли это. Скажи, не ты ли удерживаешь меня, чтобы пережить вдвоём это чудное воспоминание. Время заговорить о вечности, время умереть вместе, вдвоём, время временить, длить, остановить.

Чувствовать твою руку на зашедшейся груди, следить за движениями твоих губ, уснуть, пробудиться – сколько их уже накопилось, этих невозможных вещей. Всё знать о будущем и брать из прошлого лишь то, что вело к свету, ясности, покою, которых тоже больше нет, нет и нет...

Холодный чуждый мир начинает обозначаться перед глазами. Сегодня я его ещё не принимаю, не замечаю его вызовов. Но чтобы однажды увидеть его новорождённым, неженским и добрым, я вскоре возьмусь за него как следует, и тогда посмотрим, кто кого.

Возвращаюсь к тебе, любовь, и благословляю имя твоё и день, в который тебя встретил.

XXXVII. Август

Как птицы, потерявшие полёт,
Которым бесполезны стали крылья,
Ведь выпито из них земною пылью
Всё светлое, чем дарит небосвод.
Как шар земной кружить перестаёт
И коченеет медленно, в бессилье,
Клубком хладномятущихся рептилий,
И замыкает жизни оборот.

Как слово, замирая, отомрёт
Барьера пониманья не осия
И в памяти лишь венчиком из лилий
Пометит распускание невзгод.

Как голос, раздирая нежный рот,
В постыдном хрипе повествует были
Всё грезя о потустороннем пыле,
И соучастья у любимых ждёт.

Как время, вкравшись под больничный свод,
Неизлечимых подведёт к могиле
Ещё на день... И говор их - *мы были*.
И новичков цепочка у ворот.

Таков, любимая, минут моих разброд
Средь горем напоённых в изобилье
Дней, разминаемых в терпения точиле,
Где бродит ночь, где крепнет наш восход.

Как научиться дышать без тебя, думать без тебя. Я прячу лицо в твоей ночной рубашке, ещё хранящей запах твоих духов, теперь уже смешанный с солью моих слёз, я кричу, я воплю, я задыхаюсь. Настенька, я тебя больше не увижу, - люблю тебя – что за пустошь, что за пыль - нам больше не встретиться – люблю тебя...

Ещё чувствую тебя, но пройдёт немного времени, я проснусь однажды и уже не докопаюсь в памяти до твоего образа. Напрасно глаза будут обшаривать все окрестности, ища твой взгляд близ меня, он растворится в воздухе, чтобы уже больше не возвратиться ко мне – о злобный век, о злые люди.

Ты скажешь мне однажды, что для твоей жизни стала бременем моя любовь, всё более расплывчатая, всё более уловимая. Ты устанешь от неё, ты её застесняешься, и ты уйдёшь, жизнь моя, надежда моя, душа моя, - душа моя, перехваченная, захлёснутая тем, что ещё несколько дней назад было эликсиром нежности, тем, что стало горечью, удушающей, щемящей, давящей.

Эти дни рассеяли мои судороги, вопли, всхлипывания по всем уголкам нашего опустошённого прибежища. Не в моих силах передать тебе, какое дикое, животное отчаяние схватывает меня при мысли, что ты ушла навсегда. Какой же сильный я был близ тебя, любовь моя. На самом деле я гораздо, гораздо слабее. И пяти минут мне не удаётся устоять перед этой страшной расправой. Грусть сделала из меня игрушку : и подбрасывает меня, и встряхивает, и швыряет во все стороны, и ломает, и разбирает, собирая как попало, обдирая и калеча.

Дотянусь ли я до губ твоих, о потерянная моя, о канувшая, минувшая Настя, дотянусь ли я до твоего сердца, сокровище моё ! Что бы там ни было, я тяну тебе всё своё существо, которое, на пределе сил, ещё решается верить в счастье.

XXXVIII. Август

Ужель тиха ? Не влажен взор ?

Вдруг не сорвёт тебя провидный стон ? –

Ведь я тобою так испепелён

И жаркие идут навзрыд капли

О женщина, в благословенном теле

Твоём сходилась череда времён

Рождался пульс грядущего, но он

Почти невнятен в бедственной купели.

О лёгкости, о, света, о, покоя,

О, обратиться второпях к кому-то,

О, с кем-то ждать, о, чем-то превозмочь...

Но лишь бессилье бьётся головою

Но лишь свинец вплавляется в минуты

Но лишь слеза переполняет ночь.

Настя, Настя, я один, один до жути, опустошённый, измочаленный, о девочка моя, о моя удивительная женщина. Почему не удаётся великодушие, почему не ухватиться за наше счастье, такое недавнее, такое полное, такое безмерное, почему я продолжаю изводиться словами, напичканными ужасом и болью. На месте кожи - сплошное сердце, то-есть ты. И всё, чему угодно натолкнуться на меня, проходит им и говорит о тебе. Люто, беззастенчиво. Что за горе, горе до всякого края. Жизнь разлучает то, что так украшало бы её в единенье. И это время, ещё недавно, во дни моей жизни, бывшее таким безоглядно

стремительным, теперь замедляется, теперь-то, когда я остался наедине с болью, с резью.

Нет, любимая, в груди уже не клокочет, как прежде, беспрестанно и глубоко. Всё отвердевает, хрипы смянут за зовами, за проклятьями, за благословеньями. Изредка извержения из глубины памяти вырывают один-другой вдох, по груды застывшей вокруг лавы укрощают, затирают, удушают.

Но как же хорошо мне было с тобой, как хорошо, девочка моя. Ты уже, конечно, услышала, ты безусловно, увидела, что не все ещё вулканы погасли, о жизнь моя, о новое, новое моё дыхание... Прильни на грудь эту взлохмаченную, затравленную голову, убаюкай эти перебодрствовавшие глаза, верни мне бестревожность наших предутрий, скажи, что веришь в нас.

Но телеграммы от тебя нет и сегодня, но в десять ночей я попросту мыкаю свою подушку, покрытую твоей рубашкой, пропадаю я с ней, пропадаю, а сердце останавливается от встающих в памяти образов, где ты и я – рядом, сердце вдруг заходится учащённей, отыскивая часы без тебя, часы вне нас...

Люблю в тебе радость мою и юность и надежду, люблю в тебе и горе моё. Отвести тебе лишь какую-то безболезненную дань жизни? Нет, лучше в страшном бедствии чувствовать твою усугубляющую близость, чем прозябать в пустоте без тебя.

И вот на какую-то минуту я вдруг не одинок. Ты в моих объятиях, я не отпускаю тебя, призвав на помощь терпение, слепоту, размышления, всё, чем обыкновенно слаб. Твоя близость рассеивает мрак вокруг, ты взбадриваешь моё сердце, ему удаётся забыть пропасти разлук, обложившие нас, да с каждым днём всё бездоннее, все бессердечнее.

Ах, как же славно нам любилось ! Как без всякого усилия менялись рубежи между *мало* и *много*, между *я* и *мы*, даже между мерзким и прекрасным, злым и добрым. Такое под силу только любви.

Я вырвался, наконец, из этого перезаряженного зачумлённого дома, чтобы навестить места наших прогулок. Вот здесь, у этой красной церквушки, в скверике, ты улыбалась мне, пока я распался тебе о русской архитектуре. То же самое мужичьё нежится по скамейкам. Как им сегодня не принять за своего : они живут в мире нужды, я – в нужде мира, в потребности жизни ; всё новое – ещё одно звено, сцепляющееся с их прошлым, вот и моя цепь времён тянется, правда, из будущего, а сегодняшний день к ней лишь приспособливается : от них прячется между тем такой близкий свет, у меня отняли свет твоей близости. Зачем это я о цепях да разлучениях, и без того тяжело...

Настя, Настенька, первое и последнее моё удивление, дай мне руку, пройдем ещё по нашим закоулкам, вот до этой колоколенки, где нас застигло сжалившееся солнце. Вот эта пыль на ступенях, боже мой, эта пыль стоит, как и в тот день, перед глазами, молящими, непонимающими, а ты, ты вбирающая всё моё существо, ты не здесь, не разглядеть мне тебя никак. Что за нелепая, что за гнусная судьба, что за глупейшая растрата чуткости и разума.

Теперь эта мёртвая набережная. Здесь наши поцелуи совсем забыли о бдительности, здесь мы заговорили о рыцарских временах, о великодушных манерах, о свободе. Но этому камню не смахнуть моей слезы, как это удавалось твоей руке, ресницам, губам. Но этот камень сдавливает грудь и глушит в ней всякую жажду жизни, а за ним эта мутная гладь так близка, так дурманяще и многообещающе.

С той стороны Кремль, вот здесь ложились твои улыбки, а вот и твои ноги, губы – будет, будет, не могу я больше, - прощай, прощай,

июльская любовь, сегодня всё-таки еще твой праздник, что бы ни бредила эта резь в глазах.

Пиши, пиши скорее, Настя моя, дай за что-нибудь зацепиться, я без крова, без решёток, без парапетов. Выставь меня из счастья, разори мои небеса, обесплодь почву под ногами, но дай мне зацепиться за жизнь.

Опять расточаем беззвучностью мнимой,

Вбирает мой голос тоскливый

Былые призывы

Любимой.

Но мимо

Сердечных пристанищ

Проходит покой, и туманящ

И жуток наплыв в очертаньях любимой.

Вдруг снова близки мы,

И снова, в накале от края до края,

Сплетаются мысли мои, улетаю

К любимой, к любимой...

Они – побратимы

Со звездным устоем, с ядром разогретым

Во чреве планет, с их орбитой, со светом

Любимой, любимой, любимой...

XXXIX. Август

Кроме поэзии, есть ещё одно исповедное состояние, точно так же переламывающее жизнь, это – безумие. В эти дни я жил с впечатлением, что оно лишь выжидает первого неверного шага, чтобы взять меня своей убийственной хваткой. А ведь как легко нам говорилось : будем безумны, будем поэты, будем свободны. Так будь же, вопреки всему, моей Беатриче, иди со мной по кругам железа, бумаги, терпения. Будь моей Лаурой – в этих безысходных жалобах. Будь моей Элоизой – в твоих письмах, в таких желанных письмах.

Моя душа (моё место в мире, ощущение времен), моя душа стала самой собой с тех пор, как твоё существование переступило за легенду. Моё сердце (жажда проникновения, яркость чувства и поток нежности), моё сердце нашло тебя этой весной. Моя жизнь (вкус и запах дней, прожитых вместе, отрада глаз и тела), моя жизнь угадалась в июле. Теперь же, в эти дни, в эти наваливающиеся месяцы, впрягаться разуму и увлекать так, чтобы не дать взглядам увековечиться в прекрасоудном далёке.

Надо будет наверстать то, что упущено в действии, но и не упустить угнавшихся вперед мечтаний. Ведь в нашем чувстве появился уголок, коснувшийся действительности, - я больше неправее ссылаться на её уродство : моя любовь узнала и красоту Земли.

Как же трудно выдавливаются всякое лёгкое слово. Посреди первой же мирной строчки меня вдруг обрывает отчаяние. Настенька, Настенька, решимся ли мы полагаться на память в долгие, долгие месяцы ? Долго ли ещё сумеют июльские проблески освещать наши отнятые свидания ? Отдушина писем станет однажды слишком скудной для твоего требовательного дыхания ; ты вдохнёшь воздуха подоступней и оценишь надёжность, бестрепетность, ровность.

Последний шёпот твой забился где-то,
Спрямяются скрещенья рук и ног,
И вот уже с последнего букета
Срывается последний лепесток

Теперь на плахе будничных позорищ,
В безвременье, не поднимая глаз,
В который раз класть голову под горечь
И пить её захлеб в который раз !

Пускай Земля проходит тяжкой явью,
О лёгком благе всюду раструбя,
У ждущих губ всё прежнее возглавье,
Всё прежней выдох – я люблю тебя !

Сердечный выбор прост и независим,
И я смогу и в чувств твоих отлив
Уйти в прибой твоих высоких писем,
И забытьё, и память утолив.

Верши ж, любовь, суд праведный и скорый
И приравняй безумия любви
Надёжности последнего упора
И выходу последней колеи.

Две недели, милая, две недели, никак не втискивающихся в тесно набитую память. И этот дом, что за исторический музей с его самым диковинным экспонатом, - со мной.

Когда же я целовал тебя в последний раз – бессмысленный вопрос – я уйду от тебя, уйду – сегодня ты ещё не осушаешь мне глаз, не студишь лба.

Пиши же, пиши, пиши мне ! Вся тебя люблю, от голоса твоего до молчания, от твоей Франции до моей России, от ладоней твоих до отпечатков на твоём теле от моих губ, желаний.

Тесним петлёю памяти всё туже,
Теряя почву вдаль идущих лет,
В окне повис ещё один рассвет,
Не примечательный ничем снаружи.
К чему глядеть в удел ночи досужей-
Ни мечтаний в ней и ни побед,
Один, и то нарушенный обет,
У глаз моих не ширить полукружий.

Но как-то нужно, не дыша, не плача,
К Земле не припадая, ни к тебе,
Вверяться подстрекательной судьбе
И слаться на слепые неудачи
И будь рассвет мятежнее и зрячей,
Я всё ж не стал бы твёрже и грубей
И с дрожью на присушенной губе
Уж не надеюсь я, что рок переиначу.

Не обозначить нас землистым теням.
Не заключить ни в жизни, ни в тома,
Пока струит родная полутьма
Тот свет, что мы на Солнце не променим.
Пусть мне возиться с бедствием осенним,
Но буду я, как ты велишь сама,
Не столько доброй выжимкой ума,
Сколь чувства злым переполнением
Упейся временем, вещает властно суша,
Но жажда бдит, и грусть моя светла,
Ведь разлучив здоровые тела,
Мы только сблизили больные души.
Воздвигнута во мне, в сухие глуши
Ты все земные веси возвела
Ты во вселенской стуже зов тепла,
Ты свежести предчувствие, в удушье.

XL. Август

Снова перерабатывать науку бессонницы, снова изощряться в искусстве проглоченной слезы – я вслушиваюсь в твою телеграмму, в которой и ты заговорила об одиночестве. Как ещё передаётся крик *Люблю !* на языке молчания, о моя недостижимая, неповторимая моя.

В нескончаемые эти дни июль проваливается за всё более обрывистые горизонты. Как первые мысли о любви, этот июль уже непостижим, неогляден, о ненаглядная моя. Всмотрись, Настенька, увидь, моя чуткая, различи за этими презренно невозмутимыми, отупелыми словами – боль, боль, хватающуюся за соломинки памяти и веры и вопящую от бешенства и бессилия. 20 дней, да может ли это быть. Где те впадины горя и злости, что вобрали бы этот выводок гулких, стонущих провалов. Больно, любовь моя, мне очень и очень больно. Что-то умирает с каждым хрипом, силящимся выдохнуть твоё имя. За сколько дней завещалась моя последняя улыбка ? Обними же меня, моя хорошая, но не заглядывай мне в глаза.

Вернись в себя, застолбленный в законах,

Оседлый мир безлюбья. Перестань

Опустошать кочевия влюблённых

И заходить за голубую грань.

Не ты в насущном слое коренил их,

В подпочве сердца твой побег зачах,

Ведь их зерно запало на светилах,

И Млечный Путь – в их светлых бороздах.

А здесь, в единстве, как сплавляет пламя,
Как в завязи вырастает пыльца,-
Жить, чтоб дела окрашивать сердцами,
А не делами скрашивать сердца.

И верить так, чтоб времена не стёрли
Надзвёздный знак, предвечен и един,
И так любить, чтоб схватывало в горле
От нежности, от боли, без причин...

На этот раз проза оказалась плаксивее стиха, но я выпрямляюсь. В этой телеграмме ещё одно вступление, ещё один дебют, бесконечно тяжелее и сложнее апрельского, хоть мы и несём вместе это необъятное ожидание. Наши грустные речи пишутся тайными чернилами. На обороте жизни, под нашими скрещивающимися взглядами, они проявятся и заговорят однажды об уверенности, тепле, ясности. Все наши укоры и обвинения – это бьющий через край, в сторону бестолковой жизни, оправдательный приговор, просто очень и очень нелегко дающийся судьям.

На чаше прошлого – громада счастья. Но перемагниченные стрелки настоящего притягиваются к весу будущего, и как ни вчитывайся, ни всматривайся – они упираются в *больше никогда*. Вот здесь, на заброшенной скамейке, у нашего прощального Гоголя, целыми часами я расточаю запасы горемычных слов. Я избегаю дома, он мне стал жуток, как слишком близкая гладь реки, в которой однажды отразилось твое лицо и которая теперь испытует, притягивает ко дну, к концу, к покою истощения, бесчувственности.

Может быть, любовь с ненавистью и смыкаются в своих корнях, но что за счастье, что у любви есть и вершина, обращённая к Солнцу, где ласковые ветры касаются крон, где понимающие облака скрывают все скрипы, стоны, плачи.

Перечитал телеграмму, и из этого зашедшегося горла отсылаю тебе чуть более замутнённое *до свидания*, чуть более уяснённое *прощай*.

XLI. Август

В календарях Земли событий не пометя,
Не выверив застой по летописям рта,
Опять бредут часы походкою столетий,
И в тысячу небес под жизнью – пустота.
Когда стезя надежд на входе так крута,
В тот миг уж сплетены отчаяния плети,
В диск солнечных часов впадает темнота,
А маятник судьбы вещает лихолетье.
Отравой стойких слёз насыщена черта,
Что разделила нас в том губчатом рассвете ;
Желанье предано растительной диете,
И пресная печаль по горлу разлита.
Мне душно от того, что изливаясь эти
С вершин тугой тоски не сводит маята :
Чуть просветлённей день – была бы даль чиста,
Чуть приглушённой ночь – я б веровал, как дети.

Я скитаюсь по обесцвеченным, увядшим московским улицам и
слышу, как ты запеваешь

The rose will bloom, and then will fade,

So does the youth, so does the fairest maid.

Я всё жду глотка лёгкого воздуха, который бы унёс часть этого невыносимого груза ; я влачу его с собой, в себе, груз тридцати дней, тридцати удушений, нередко, особенно в ночи, напоминавших утопления. Тридцать замедленных удушений на лобном месте заплечной печали.

Но нет её, этой лёгкости : вся моя вольготность, всё моё глубинное дыхание унеслось вслед за тобою. И мы уже так далеко, так далеко, жизнь моя. Напрасны вереницы моих окликов, напрасно я карабкаюсь на высоты терпения, напрасно я пытаюсь пробить толщу времени, вставшую перед нами, против нас.

О, счастливое средневековье ! О, дороги, открытые всякому скитальцу, всякому влюблённому, всякому поэту ! О, рыцарские сердца свободных умов ! В какую эпоху нас забросило, кого винить в ошибке на тысячу лет !

Искать тебя всю жизнь, приблизиться к тебе, прижать к себе – и теперь смириться с потерей всего... Грустно, грустно... Утешаться воспоминаниями о том, что мы пережили вместе, - сердцу уже не улыбается. Аромат тогдашних цветов мне не доносит тогдашних солнц. Нежные мысли не возмещают нежных взглядов.

Я не решаюсь говорить об июльском счастье, о том самом, что в день расставания мы в один голос назвали воздушным, невещным. А между тем оно воплотило столько вымечтанного ранее : в твоих поцелуях я словно узнавал свои предчувствия ; твоя улыбка освещала то, что угадывали предвидения. И страсть, охватывавшая всю мою радость, всю мою свободу, всё моё желание. И эта последняя ночь, с накапливающими слезами. И этот громовой бой часов, и гробовой ход стрелок, и рассвет, сочившийся из-за штор и топивший, связывающий,

убивавший нас. Наша страсть не узнавала нас и предавала тревогам и растерянностям.

Я вижу, что годы и годы я любил тебя внешне : я любил тебя широко и свободно : я открывал тебя, цельную и доступную, в своём идеале, бывшем моей второй кожей и спасавшем от скребущейся жизни. Какая теперь широта, когда я сжался до одной, чуть светящейся точки. Какая теперь свобода – в этом сгустке убитых желаний.

В этот час жизни (где жизнь, там вздохом больше) у меня не остаётся ничего внешнего, всё переплелось с тканями сердца. Я люблю тебя, Настенька, и если так посерьёзнел мой голос, то это от того, что любовь сильнее меня и не поддаётся правке иронией. Да и как писать твой образ, когда он встаёт повсюду и во всём живёт такой жизнью, что посрамила бы всякое воображение.

Я продолжаю обивать асфальт, мостовые, булыжники. С какой ненавистью, с какой удушающей ненавистью я огибаю перекрёстки, на которых мне надеялось встретить тебя. Любимая, ты вдруг предстаёшь предо мной, улыбающаяся, невесомая, радостная, моя Настенька, ну конечно же, это моя Настенька, моя... Я забрасываю на чердак, на свалки, в чертополохи всякую грусть, я чувствую, как во всём нутре затемняется глубокое волнение, веки взбухают от тяжело нависших, на этот раз счастливых капель, в которые сегодня переливается вся моя нежность, прозрачность, я беру твои руки... - и нет, нет, нет, тебя здесь нет, тебя не будет и вон там. В кромешном молчании я не слышал твоих шагов, я даже не угадал твоих мыслей. Не вижу, не касаюсь тебя... Только увидеть, и уснуть, и видеть сны. Грустно, грустно.

Тихо-тихо положи руки ко мне на плечи, коснись вот здесь моей кожи, вот так, вот так, нет ничего нежнее рук твоих, милая. Ласкай

меня сегодня, вспомни сладости, поведанные нам одной июльской ночью, прильни ко мне.

Я твержу тебе лишь о грусти, нежная, нежная моя подруга. Скрывать её, что заглушать мою любовь, становится ей поперёк дороги. Увы, как превосходно, с каким совершенством изъясняется наша любовь на языке отчаяния.

Жизнь сердца замерла, оглушённая, опустошённая. Жизнь души, оттого, стала лишь ещё напряжённой, и эта жизнь зовётся нежностью. Мы ещё свяжемся, и я уже не поверю, что такая жуткая подавленность могла уживаться вот с этими ласками, которыми я усыпаю твоё чуткое тело, ждущее тело.

Подумать только, воспоминание об этом безграничном одиночестве займёт в нашем счастье не больше места, чем форма этого лёгкого облачка, чем смерть этой беззаботной бабочки, чем привкус этой пересолённой капли. И столько сил растрчено в этой августовской пустыне, уж их не достаёт, чтобы забыться каким-нибудь пустынным миражем, чтобы сметь уповать на какое-нибудь оазисово чудо. Ох, уж этот плач ; он показал нам горизонты, не приближая к ним, что же, теперь слезам придётся заострять зрение сердца.

Дай любить тебя сегодня, дай жить и перейти за предел жизни, туда, где нас забросил, оставил июль. Дай облечь тебя этим молчанием, этой слабостью, всем тем, что твоя нежность назовёт однажды музыкой и силой.

XLII. Август

День наводнён всеоко, и воочью
Усохший ветер тянется к глазам
И жадно пьёт, чтоб обратиться ночью
И лечь о берегах утра, а там,

Опять захлестнут жарким половодьем
Взметать к тебе неутолённый слух
И чувствовать, что мы себя находим,
Теряясь и вверяясь ладу двух.

Не знать, но верить, слепнуть, но лучиться
И вглядываться в сбросившие страх,
Июлем преположенные лица
С великим назначением в глазах.

Но снова слать беспомощное слово
По чувствам не торимому пути
И за предел отчаяния больного
Созвучьем вздох случайный донести.

И вот уже язык литого стона
До гулкой меди память вознесла –
И на высотах сути потрясённой
Гудят-гудят души колокола.

Наша радость ещё заговорит : её немота минет ; её не увековечить никакой печали, никакому ожиданию. Я упиваюсь твоим письмом, оно здесь, у глаз, у губ. Люблю, я люблю тебя, как дикарь, как отшепенец, как отброс, как бродяга, как нечто не от мира сего, этого подлого мира, говорящего лишь о нескончаемых ожиданиях. А вне этого мира мы и не разлучались вовсе, не так ли, родная моя, жизнь моя ?...

Люби я тебя чуть поровнее и поменьше, я бы отыскал слов поумней и посвязней. Мне и в голову не пришло прикинуться самоуверенным, развесёлым и горделивым. Но надо и не сделаться плебеем сердца, не разыгрывать мои печали, чтобы тронуть и разжалобить. Я хочу, чтобы всегда любовь одерживала над нами победы, не призывая на помощь союзников : ум, учтивость, дружбу. Ничему и никому я не подражаю, ведь любят тебя моя суть, моё нутро ; оставаться тем, кто я есть, значит хотеть любить тебя всегда-всегда.

С тех пор, как я заговорил о любви (да и говорил ли я когда-нибудь о чём-то ином ?), стёрлось столько границ : французский или русский, однообразный или пёстрый, расплывчатый или убедительный – всякая значимость упала с них. Как я жду, когда в наших словарях, при слове *отчаяние*, мы прочтём *неупотребительно*, а всё существенное (существительное) будет лишь одного рода – влюблённого.

Твои письма становятся чем-то большим, чем соломинка жизни. В их невесомости, быть может, самое верное спасение, удержание по сю сторону одоньев и водоворотов. А тут ещё и этот наивсамделишный островок, на котором мне можно шептать или вопить своему обитаемому сердчишку : *тебя любят, тебя любит Настенька !* Нет, это уже не апрельская мечта, не июльский бред, не агония августа, это – явь, достойней лучших мечтаний, - о губ, губ твоих, моя девочка, быстрее, быстрее, моя текучая, ещё крепче, вот так, ещё и ещё, и не

открывай глаз, предоставь моим рукам, моей жажде, открыть всё, всё утолить.

Как животрепетны строчки твоего письма : твои губы встают перед глазами, повитые улыбкой. И я чувствую, что если руки наши находят друг друга, то первым протягивал руку я : и если ты вздыхала, то так отзывалось эхо моего желания : и если твоя улыбка не решалась уцелеть, то лишь потому, что её удерживала моя радость. Я счастлив, счастлив без меры, счастлив, что ты рядом со мной ! Дыханием твоих писем наполняются мои лёгкие. Сегодня тоска не хватает за горло всякий раз, как я заговариваю о нашей любви и не затягивает петлёй бессилия.

Наконец, наконец, наконец, отстучав зубами в этот студёный месяц, опешенный, одичалый, запустелый вслед за твоим уходом, я начинаю отходить, давать себе передышки, я почти готов схватиться с чудищем, с этой мерзкой жизнью и, кажется, одолеть её.

Пусть разум растерял ключи событий,
Пусть время их обволокло сурьмой, -
Июльских красок диво извлеките,
Любимые глаза, сквозь хаос мой.

Ведь предузнали вечные поруки
Моим строкам улыбчивый черёд
И видели, как из клоак разлуки,
В чаду безверья, нежность восстаёт.
Скажи, ж, любовь, что горестном закате
Нам о заре уж мнится, и скажи,

Что не разжать нам первого объятья,

Что заключило жизни рубежи.

Я вкладываю и бесслёзный лепет,

И, заглаза, поток прозрачных струй

В завет надежды, что печатью скрепит

Знакомо-исступлённый поцелуй.

Как сладко верить : эта жизнь коснётся

Моей любви, в преддверье долгих пут,

И погружая в глаз твоих колодцы,

В желанье их даст вечности приют.

Ключ поэзии : выдумать боль, когда нас мает боль совсем другая, и всё это для того, чтобы в нашем голосе услышали, чужим слухом, боль третьего – таков тройственный путь : моё сердце, наш язык, твоё сердце. Но к тебе, как найти мне ключ к тебе, моя сладкая, моя единственная поэзия ! Я не знаю, не чувствую связей между своим неизъяснимым я и тем сердечным красноречием, что неразборчиво рвётся говорить о любви. В этом – тайна, и пока она не разгадана, я стану жить и любить тебя.

Дай мне руку, милая, я стану перебирать твои пальчики, чётки моей нежности. Я заласкаю их дыханием, мне доступен сегодня шёпот, ведь из горла, впервые за целый месяц, идёт не только придушенный ропот. Я люблю тебя, и, наконец, огромность этих слов не сдавливает смертно грудь и не вызывает агонию век, впервые за долгое-долгое время.

В руках у меня ещё одна твоя книга, ещё один глоток поэзии, текущей от тебя, ещё один глоток из будущего, от всего лёгкого, от тебя.

Я вдруг соображаю, что дорога из августа в декабрь не намного длиннее, чем из апреля в июль. Где ты, декабрь ? Пустился ли ты уже в путь ? Не ты ли это, всё ближе и ближе ? Видишь, моя любовь смотрит только вперёд, учится жить будущим, а прошлое лишь ширит её взгляд.

Эта холодная и трусливая Земля не выдержит однажды прямого взгляда оттуда, она сдастся, снимет из под наших ног всякую тяжесть и перестанет давить на нас своей неразборчивой атмосферой.

Как говорится, твоя песня спета ;
Немая скорбь. И нет утраты в том,
Что я гашу, любовь, свечу поэта
Перед твоим сияющим огнём.
В груди игра неудержного света,
Им залит весь давно померкший дом.
Пусть на исходе пламенное лето –
Нам заходиться вёснами вдвоём.

XLIII. Август

Тон этого письма, пожалуй, будет несхож с остальными. Неизлечимо больные, кажется, обязательно проходят кризисом, за которым или конец или чудо выздоровления. Как бы здоров я ни был, я не могу не припомнить кризисного чуда.

Сегодня, любить тебя значит понимать ценность жизни и бросать вызов смерти. Сегодня, верить в наше счастье значит презреть пустоту, небытие, из которого я вырвался бесповоротно.

До тебя, смерть маячила повсюду : новорождённые ещё носили следы вчерашнего несуществования, детские улыбки сходили для увешания надгробий, влюблённые, за последним прости *однократно Живому*, были готовы кануть в *длящуюся преходящность*.

Я носил в себе эту смерть, переплетённую с внутренней жизнью. Равные ей находились среди упрямых мечтаний. Лишь она бралась понять и приютить их. *Can death be sleep, when life is but a dream.*

Я хотел любить тебя, жизнь отворачивалась от меня, я шёл к смерти и кончил тем, что нашёл в ней сходство с тобой. Порой я не мог отличить её зова от твоего.

Я поднимал голову, чтобы увидеть тебя, а она сжимала пальцы на моём горле. Я тянул к тебе руки, она вкладывала в них отраву. Я хотел подняться на твою высоту, она усеивала тропы западнями и тупиками.

Я избежал всех ловушек, угадал все перешейки. Сердце не перестало вслушиваться в голос судьбы, оно привело меня к свиданию с тобой, предопределённому кем-то, более сильным, чем смерть.

Как же мне отплатить её неблагодарностью ? Мы разделяли с тобой, смерть, столько прозрений ! Пусть не всегда я следовал твоим советам, они всё же заставляли обращать внимание лишь на вещи значимые, великие, из тех, что либо соединяли с тобой, либо от тебя отделяли. И ты научила меня пренебрегать тем, что выдаёт себя за жизнь перед невеждами Жизни.

Жизнь лишь длила дни, ты же, смерть, ты воспитывала меня, готовя к высокому, ты уберегала меня от лжежизни, заслоняла от неё. Пусть в твоём потоке забвения затерялись качества моего ума, но в атмосфере твоей, заряженной чуткостью, вызрели свойства моего сердца.

Жизнь принимала меня лишь на своей оболочке, ты же приобщала меня и к своим глубинам.

Жизнь людей – это тень, отбрасываемая преходящим, случайным, заслонившим твой свет. Лишь тот, кто однажды заглянул тебе прямо в глаза, будет жить, умея соизмерять подлинные значимости вещей и дел.

Любовь сродни смерти. Всякое начало, как в одной, так и в другой, принимает окраску бесконечного.

Обе живут за счёт жизни. У истоков, они – её отрицания, но когда им удаётся достичь устий, они нас заставляют любить жизнь.

Они обращаются к первоосновам бытия и проходят мимо того, что к ним отношения не имеет или их не знает.

Любовь и смерть – это окуляр и объектив нашего мировосприятия. Взгляд должен пройти любовью и не уклониться от линз смерти, только так запечатлённый образ будет верен оригиналу. Беда только, что не отрывающие глаз от смерти теряют жизнь.

Заботами о смерти мы омрачаем жизнь, заботами о жизни мы умяем смерть. Моя жизнь огромна, беспредельна, хоть мне и довелось узнать лишь предвкушения и предчувствия её. Смерть ушла, она далече. Глаза уже не хватаются за неё судорожно. Она прозрачна моим глазам, и в видении будущего она лишь ещё пронизательнее делает мой взгляд.

Философия смерти должна бы начинаться происхождением любви. Безумие любви должно бы оправдываться тем, что находится по ту сторону смерти. Всё это совсем по-христиански...

Душе что жизнь и смерть – два горестных экрана,

Что направляют взгляд на поиски основ.

Один пред нашим я маячит беспрестанно,

Другой на внешний мир бросает свой покров.

Das Leben gleicht der Bühne : dort wie hier

Muß, wenn die Teuschung weicht, der Vorhang fallen.

XLIV. Август

Да возможна ли радость такая, радость живая, не подстёгнутая ничем, даже мечтой, здесь, перед раскрытым конвертом ! Да тем же ли самым я дышу воздухом ! Какое сердце льнёт ко мне ! Да как же славно нам дышится, обнявшись, и перебирая, наперебой и озорно, совсем не колкие воспоминания ! И всему-то имя – твоё письмо, всего-то навсего. Ты любишь ! Ты думаешь о нас ! Что за слова, что за диво, что за женственность до задыхания, до трепета ! Слушай же, малонер, слушай, как бьёт твой час, час, вобравший в себя столько лет пустоты, безвременья и безвидья !

Откидываюсь назад, глаза сплетаются, сердце ахает, и этот вздох уносит в твою сторону имя моего счастья : люблю, любим ! О, эта минута стоит всех слёз, всех затворничеств, всех неможеств в ответ на мои зовы. Прошлое заживает той же жизнью, что ты приоткрываешь вдруг ; оно не отмерло, не окаменело, оно лепится и преобразуется, его зодчий – я.

Любить, быть может, значит целиком захватываться новым движением, исходящим от любви. Недавно нас так грубо разлучили ; вся тяжесть этого бедствия отложилась во мне : и вот уж я не мог сдвинуться с места. Так я и докатился до разговора об ужасе всеобъятной любви.

Судьба снимает с горла пальцы, я дышу всем объёмом души, как бы ни клубился год и смрад трагедий. Сегодня ты даёшь мне жажду жизни, и она уже разослала окрест свои первые биения. Ты слышишь, не может быть, чтобы ты не слышала, - я счастлив, я полон тобой, твоей любовью.

Эта тоска, в которой я увяз было так глубоко, один, дичась и боясь ещё больших травлей, эта тоска вывела меня, наконец, на путь выживания, где меня ждала твоя рука.

Дай уронить голову на твою грудь и дышать, дышать тобою...

XLV. Сентябрь

Я стал терпимее смотреть на нелепицу нашей переписки. Благодаря ей, то, что даёт жизнь, несёт в себе и зёрна творчества – только ты можешь ещё писать эти неслыханные письма.

*Daß dein Leben Gestalt, dein Gedanke Leben gewinne,
Laß die belebende Kraft stets auch die bildende sein !*

Вот ты говоришь, что кроме нас самих, у нашего счастья нет иного богатства, иной опоры. И как же мы далеки от нужд этого мира ! Не быть нам полезными ему и, уж тем более, вредными. Зачем же держать нас в плену у безысходья, заложниками счастья, им-то, кстати, и совершенно чуждого. *Die Welt wird nie das Glück erlauben.* Нашим богатством у них не выкупишься ; в землянах такой выкуп пробуждает недоверие ; для них всё менное и драгоценное обязательно вне них. Для нас же, чуждого искать, своего потерять.

Они рукоплещут тому, что одерживает победы над своим сердцем, но потешаются над тем, кто ищет побед силами своего сердца.

К чему обнажать своё бескорыстие, если и в нём они обличают задний расчёт. К чему эти вопли о нашей беде, нашем крушении, если мы захлёбываемся в волнах, чья смехотворная мелкота давно ведома лоцманам кругосветанья.

В мире, где величие злобно, а доброта мелочна, нам не рассчитывать на понимание.. Мы одни, любовь моя, и полагаться сможем лишь на самих себя.

Путь к великой тиши проходит сквозь строй враждебного свиста и надругания. И это уже началось, и скоро у меня, по-видимому, не останется ни кола-ремесла, ни двора.

Но ты здесь, моя девочка родная, и твоей любви у меня не отнимут. Она поддерживает меня во всём и повсюду : она обогреет меня в стуже, осветит во мраке и близ самых жутких концов заговорит о свежести самых лучших начал. Ушла радоубийственная тоска, рассеялась неприкаянная смута. Предоставим мёртвым жестам погребать своих мертвецов, заставим себя жить на милостыню из писем, подаваемую великодушными полициями

А тут вдруг пришло новое твоё письмо... Обречены ли мы этим вечным колебаниям около веры в будущее ? Стоит одному из нас возвыситься над нею, как другой погружается в сомнениях без дна, без просвета. Хорошая моя, ты же сама вторила : закроем глаза, уйдём... Прошу тебя, отвернёмся, обернёмся лишь в сторону души, забитой ожиданиями, проживём эти месяцы (меньше ста дней, душа моя !), проживём их в грядущем прошлом, в грядущем будущем.

Позади, мне нужна лишь богатая память. Впереди – жизнь, полная насыщенного настоящего. А что выше или ниже, что левее или правее – это всё равно.

Но что за чёрная печаль, моя маленькая спутница. Твоё письмо открывает мне глаза, я понял, чуть ли ни впервые, что наши боли соприкасаются, как и наши радости. Отдай мне, оставь, предоставь мне твою грусть, моя нежная, я пронесу её вместе со своею, я – её обычник. Я давнишний завсегдатай злосчастий, пожалей свои милые плечи, они созданы для нош иных.

А ты, ты плачешься мне, ты горюешь, моё солнышко. Время травит нас и раззуживает всякое сомнение, надо выучиться презрению к нему. Ведь ты же повторяешь мне, что твоей любви бояться нечего ;

этим словом надо выдрессировать взбунтовавшиеся грусти. Дай боли волю, станет прихотничать.

После августовских встрясок я думал, что сердце задубело и стало непроимчиво наскокам слезоточья. А оно опять опровергает, опрокидывает меня, уязвляет и проучивает беспощадно. Это оно, самодур, видит меня насквозь и диктует глубину дыхания. А я, что такое я – плёнка, прозрачная твоему свету, но непроницаемая отравленному воздуху дней, прожитых без тебя.

Над Москвой гроза, в голове вихрь. В тучах, в глазах, в сердце – заклинающие, переспелые, тяжкие капли. О гнусный век, о позорные стены. Нет же, злобствующие упыри, пустосвятные надзиратели, отлучающие наше счастье, я выживу, не палясь за ваше поганище, не примыкая к стадам, алчущим превосходства, угнетения и сытости.

Ты, стена-исповедальня, охлади мой лоб, бьющийся о твой камень, укрепи мои руки, ухватывающиеся за судорожные промельки Насти, возврати моей памяти этот жгучий бред, струившийся к ней, в неё, открой, открой, мои глаза....

Грусть вкрадывается, просачивается в извороты и родники боли, растравляет, свивается в горький гордиев узел. В один прекрасный день надо решиться разрубить узел и перевязать язвы.

Твоим лазам – поцелуй, небу – молитва, времени – пинок...

XLVI. Сентябрь

В эту минуту сердце бешено колотится и делает мне больно. Оно прозыблено, прозужжено четырьмя твоими письмами и изливается через край. Письмо – поэма, письмо – нашёптыванье, письмо – жизнь, письмо – предание.

Ты придёшь ко мне, ты останешься со мной, тебе обещается чиновья милость, право возгнестись в нашей первопрестольной неприветливой Москве, о перелётная моя, о пушистая Настенька. Да, да, все канцелярии так далеки, а когти отчаяния всегда так близки тут как тут, а ждётся нам так туго, так непросто. Не дрожать над нависающей разлукой – о, приди, удивительная моя, жду тебя, отдаю тебе всё добро, что у меня есть : заложенное сердце и последние вклады постоянства.

С тех пор, как вижу тебя, смысл моих дней – любить, чтобы жить. И это возглавье должно благодарить своего предшественника – жить, чтобы любить ! Я жил для этой весны, и вот я люблю, и любовь моя проведёт сквозь все времена года, времена жизни.

Ты снова заводишь речь о моей невылупившейся писанине и, может быть, и впрямь вернёшь вкус к ней. Беспамятная душа неспроста томится по будущности, по какому-то непреходящему слуху, которому было бы дано не проронить, удерживать и вещать о тебе. Не ровни, не сострадания, не исподтишайшего поддакивания, а именно вселенского, нелипучего уха, которое верней твоего языка передаёт душевные излучины.

А я всё залёживаюсь на обочинах дел. К несчастью, на безлюдье и сидни честь. Меня коробит от мысли, что моя жизнь окажется лишь очередным, пронумерованным звеном в ряду людей и времён. Мне безразлично всё то, что вытекает лишь из духа времени,

паразитирующей памяти или всеобщей инерции, но то, что зачинается во врождённом, первозданном, исходном я так текуче, изменчиво и редко поддаётся слову.

Дела и мысли стоящи нашей причастностью к их зачатию и увенчанию... Настоящая жизнь должна бы опираться и отправляться от тех же точек отсчёта, что и 2000 лет назад, что и у дикарей. Но жизнь людей становится всё прямолинейней и всё чаще оседает на некоем уравновешенном уровне, теряя способность переживать ужас падения или упоения полётом. Одни из первейших достоинств человека, терпимость и великодушие, - в расстоянии между этим базисным уровнем и подлинной глубинной жизни. Со временем люди не стали ни мягче, ни задушевней, и бедовики XX-го века не меньше изводятся пытками нравственными, чем злополучники варварского века - пытками физическими.

В душах нет чесотки выбивания в люди, и заурядность мучит лишь умы. Какая обезличка несносней : в галдеже сходбищ или перемолви избранных ? Одна горька, другая солонка, и бывает, что в довершение этой несваримой порчи, нас ещё охватывает и закисью залежавшихся сил. Горечь можно проглотить или подсластить, но солонота растравляет череду жажд и незаживающих ран, так что не приведи бог быть первого десятка, да не первой сотни.

Ущемления посредственностью, в зауряди, можно тихомолком замять ссылками на вырочительное смирение. Но не выделиться, угораздив однажды в затолочье значит, что дыхание перехвачено на уравнивательной высоте, и душевного подъёма хватает лишь на то, чтобы полоруко копошиться на месте (Сизиф, Сизиф...), на бедственных скатах бесплодия, в виду величаво высящихся вершин.

Заковыка ещё и в том, что среди головастых сливок что-то отбрасывает тебя вовнутрь, а среди квасного межеумья никак не выкорчёвывается тяга наружу.

Немного дольных реалий. Стоило мне заикнуться, перед чиновьей сошкой, о приглашении тебе, как на меня, словно ненароком, посыпались служебные злосчастья. Похоже, что пред тобой, в декабре, предстанет эдакий нищевродствующий отлучник, тунядец, с видами на выселение из Москвы. Чтобы пристриться куда-то и приложить голову, изнутри и снаружи, могут понадобиться месяцы...

Счастлив читать твою любовь в *жду тебя, верю в нас, думаю о нас* ; счастлив гореть твоей любовью в *возьми меня, позволь мне, приди же...*

Да не смутят тебя мои низкопробные мыслишки, копошащиеся среди драгоценных снимков сердечности. Самое главное в нашей жизни – не уходить дальше первых чувств, и не бояться соскока на вторые мысли.

Любить так, чтобы полюбилась и сама боль. Мечтать, не пробуждаясь ни спящимся бездолием, ни усыпляемой лихоманкой.

XLVII. Сентябрь

Счастье моё, протяни мне твои руки, я изолью в них все свои благодарности : утешенное сердце, выросшая уверенность, утихшие мысли. Ещё письмо, ещё выдох, ещё размах.

Обуревают стадным желанием обрушить великолепие одной из твоих страниц на чью-то покойную голову и видеть, как бледнеет и размывается в твоём свете всякая самоуверенность, кичливость, всякая обыденщина. Но нашей вершине не знать многолюдья, все перевалы беззвучны, да наше продвижение и вовсе бесследно. Понять мысль значит достичь её высоты, как голова приведёт. Понять страсть значит повторить сердцем в точности то же самое восхождение, что и первопокоритель.

Всюду, где появляется любовь, ей надо быть новорождённым и наивным амуром, со стрелами, предназначенными только одной мишени – сердцу. Любовь касается всего и всё освещает, но для этого ей нечего занимать у дубины или свечки.

Живость первого чувства растрачивается так быстро от того, что его принимают за мастера на все руки и ждут от него всяческих услуг, от самых мелочных. Из него же нужно выпестовать ювелира, не знающего с кузницами жизни и не препирающего с подмастерьями разума.

Среди всех званий, присуждаемых любовью, драгоценней всего – любовник. Руки повисают в воздухе, жалобы скапливаются на губах, тело рвётся к твоему. О красивая, о нежная, как же мы научились любиться ! Вот ладони мои, вот моя улыбка, во моё тепло – к нашему празднику !

Что такое жизнь вдвоём ? Это чуткость, ладящая с тяжестью, это вера, расправляющая крылья. Созвучие. Из несовпадающих нот рождается благозвучие двух различных инструментов. Не усиления своей партии я жду от нашей жизни, а только восхищения в единственном слушателе с безукоризненным слухом - в любви. И ещё – делить или усмирять твои будничные хлопоты, не давать увякнуть.

Я продолжаю жить под созвездием твоих писем. Перечитывая их, теряю дар слова, обретая сполна щедрый дар сердца. Они со мной повсюду : в метро, в автобусах, в электричках. И вместе с ними ещё эти две фотографии : заморская, прозванная тобой началом нашей жизни, и десновая Джоконда – что за улыбки ! Остановился на минуту на одной из твоих грустных строчек – что за запустение, мир без тебя, что за изобилие, что за жизнь – быть вместе !

Люблю тебя, Настенька, и не перестаю видеть наше торжество. Насколько же мы сильнее людей сегодня !

Ты спрашиваешь, куда идут мечты, предчувствуя *кончину* ? Они воскреснут от соприкосновения наших губ, когда раздадутся далеко-далеко все тревоги и дрожи, запинки и заминки.

XLVIII. Сентябрь

Здесь покоится наша любовь, замученная вами - никого бы не тронула эта эпитафия, злорадство власть придержащих не смягчилось бы. Но нет же, выкрикни вместе со мной, что их победоносные насмешки преждевременны. Из уготованных вами плащаниц мы выкроим повязки для наших ран, а в лицемерных ваших терновых венцах отыщем зёрна жизни новой. Соединим же руки, соединим слёзы, соединим мечты, единственная моя, - ты видишь, как мы сильны своим одиночеством. Вне нас нет надежды, тем лучше, не придётся ловить её снаружи, она расселится в предсердье, не развеется во все концы Земли.

В твоём последнем письме есть слово, в котором вся жизненность и вся убитость : *У меня такое впечатление, что я бьюсь за мечту, вовсе не помышляя о том, чтобы она обросла жизнью.* Когда взыскуют жизни, отчаиваются среди грёз о ней. Убегая от жизни, находят отраду лишь в мечтаниях.

Мы научились оживлять наши мечты, но вы, люди, благообразные и благонадёжные земножители, дайте нам сделать мечту из нашей жизни. Для этого нам нужен где-то лишь один отмер земли, где мы смогли бы замкнуть наши объятия.

Но снова августовы содрогания и параличи накладываются на меня. Ещё недавно действовало такое снадобье : поговорить ввечеру с тобой, успокоиться звуком твоего голоса, вдолбить в голову близость исполнимых чудес. Но у этого врачевания быстро открылось страшное противопоказание : повсюду разливается невыносимое желание коснуться тебя и заласкать.

Любовь моя, эта грусть тербит меня жестоко, и то, что как будто начинало узнавать покой, отбрасывается заново в когти безмездья и сердечной колотьбы.

Клянусь себя за угрюмые свои письма, которые, должно быть, отравляли в тебе драгоценную, бесценную веру в нас. Месяц назад я следил, оглушённый, как на глазах исчезала, уходила моя жизнь. Я бросался вслед за ней, цепляясь за её тень, я падал, набивал себе кровоточивых ран. Всё это вместо того, чтобы остановиться, опершись на какую-то заваливающую надежду и доверить ей всё своё сбитое дыхание. Вместо того, чтобы сообразить, что чем острее отчаяние, тем глубже вонзается его лезвие в живую плоть веры, я как будто страшился громоздиться вверх, к этой вере, чтобы ещё глубже не пасть в отчаяние.

Я шёл на поводу у службы, слепым ставленником, корабликом в ручьях своего горя, вместо того, чтобы думать о путях, что приблизили бы к тебе и отвели нас обоих от топей сомнения.

Когда превзойдены и исковерканы пропорции, я теряю чувство перспективы. Твой образ отвлёк меня чересчур далеко от реальной жизни, в которой всё измеримо и весомо.

Но ты, сердце моё, ты умеешь убаюкать ласками, я чувствую руки твои на себе, когда ты, сквозь письма, разговариваешь со мной. Какое чудо, что прежде чем полюбить твою душу, я уже любил твой ум, и до свидания с твоим сердцем, я уже был пленён твоей душой, и до объяснения с твоим телом, я уже излился перед твоим сердцем.

Как это много, быть совсем одними, никто не прервёт этого поцелуя...

XLIX. Сентябрь

Сердце заходится от нежности, беспомощности, заходится от слёз. И знать, что и тебе так же невесело, лишь удваивает эту растраву. Настенька, маленькая моя девочка, счастье моё, подойди ко мне, мне худо-прехудо, я на износе, у предела, я не живу более. Я развален, опустошён, я одеревенел, окаменел, я разума лишаюсь. Помоги стряхнуть жуткое бремя моего ничтожества, моего убожества, всей этой уличительной нечисти, осаждающей во дни упавших рук. Скажи, что мы преодолеем насмешку и недоброжелательство людей, что из всякого пекла жизни мы найдём лазейку в утешение и обнадёженность – не сильнее ли мы всех в мире невесомого ! Но воспоминание о счастье – уже не счастье, тогда как воспоминание о боли – новая боль.

А тем временем дикие чиновники сдирают с меня шкуру в волчьих кабинетах, где я нескладно лопочу о наших ягнячьих пожеланиях. Чтобы пригласить тебя, мне нужно заверенье в казённой благонадёжности, *характеристика*. Нужна и *достаточная жилплощадь*, а я уже совсем нежилец стал для своей зоркой матери-родины. Путь через *трудоустройство*, как знать, окажется не столь непроходимым, особенно если ты исхитришься заручиться благословеньем с площади Фабьена.

Я думал, что альтернатива нашего века – для человека или для человечества – неукоснительна лишь в делах добрых. Теперь я вижу всё яснее, что в злых она ещё чётче, и не впервой вытаптывают человека, чтобы по нему бодрее шагало человечеству. Не впервой, за человекопоклонством отступничать перед человеческой свободой. Но память веков испещряется лишь путями человечества, и потому

далёкие потомства разглядят в нашем лихолетье не больше драматизма и злодейства, чем мы сейчас в тишайших заводях истории.

Боже мой, боже мой, и эта осень, тянущаяся перед нами покуда хватит глаз, что-то она передоверит нашему декабрю ! Вот и ты шепчешь : *о счастье говоря, легко впадаешь в грусть*. О нежная, о чистая моя, сегодня я решаюсь опить тебя этим зельем навзрыд, не боясь опечалить сверх меры. Нет-нет, это уже не утро нашего расставания, это очистительная, светейшая гроза. В ней всё есть : и боль, и желания, и вера, и мягкость. Сквозь неё я вижу наше пробивающееся солнце, я верю в лазурь наших небес и в звёзды нашего грядущего. И я счастлив – ведь в сердце твоём есть место и для глаз и для жизни моей !

Я делаю усилие, и мне сегодня, наконец, удаётся жить, моя милая, удаётся. В эту ночь я думаю только о тебе, стремлюсь только к рукам твоим. Ты – всё для меня, всё. Ты слышишь, что я живу, моя Настенька, а значит ты знаешь, что люблю. Я рвусь из самой глубины ожидания, чтобы дотянуться до всех горизонтов, улавливать все лучи, вперяться в тебя. О, свидеться бы только, ведь это наше единственное счастье, подобно тому, как единственная жизнь – любить друг друга, ведь правда, правда, скажи, моя ненаглядная, ты, ты, чьё дыхание ещё одушевляет меня, ты, с которой началась любовь, ты, без кого любовь суха, как алгебра, - где-то ты, что-то ты ?

Нет же, моя возлюбленная, я не свыкнусь с одним лишь волшебством воспоминаний, не ему одному пещься о нашем счастье. Нет, моя нежная любовь, скоро мы сольём воедино наши задыхания, они сменят эти усталые-усталые голоса, усталые от восклицаний, от откликаний через громаду пространства, молчания, злобы. Пусть стон стал глубже, но с ним уходит и горечь, а вера новая и заглушает укоризны и смягчает их. Всё, что лишь тепловато, жаркому сердцу

безразлично и совсем им не ощущается – это спасает меня в переплётах с окружением и, подчас, от него даже изолирует.

Если судьба намерена враждовать с нами по-прежнему, я буду писать влюблённые письма хоть двадцать лет, и пусть слёзы подтачивают жизнь, пусть любовь подтачивает время.

Моя любовь к тебе – нечто более жизненное, незаменимое, чем твоя любовь ко мне. Ты перестанешь любить, моя жизнь не остановится, она станет питаться моей любовью, любовью, которая стала бы лишь тем более невещной. Перестану любить я – жизнь потеряет всякую опору, всякий смысл, всякий вкус.

Если же, судьба, ты хочешь подарить нас друг другу, то поспеши. Посмотри, как наша любовь не сгибается от твоего недружелюбия. Посмотри на эти четыре отрешённые руки, на эти отяжелевшие веки, – ведь ты слышишь и два этих сердца, которые так хотели бы, соединившись, отстукивать жизнь, а не порожнее ожидание. Оказавшись вместе, мы уж не стали бы выпрашивать у людей гнусной их поддержки. С нас хватило бы глаз наших и рук. Мы ещё встанем, мы ещё выпрямимся, мы будем гордыми и великодушными, мы предоставим другим хлопотню о соперничестве, о превосходстве, о гордыни. Одна улыбка твоя снимет с меня груз века и залечит раны времени. Мы ещё избойчимся, изручнеем энтузиазмом.

Обнимаю тебя, уношу тебя далеко-далеко от края сомнений, слагаю тебя на ковре из ласк моих, склоняюсь над тобой. О, счастье, украшающее Землю вот уже 20 лет, люблю тебя, живу и надеюсь и почти не плачу. Вот рука моя, чуть в дрожи, вот сердце моё, чуть притихшее, вот жизнь моя, настезь перед тобою, перед твоим последним свершением, перед нами. Ты не отступишь, не дрогнешь? Глаза твои, как тогда, крепко-накрепко закрыты? И на этих губах я могу высвободить все вздохи прошлого? Приняться за летописи

будущего ? О, жить, жить этими мечтами, мечтать, мечтать эту явь !
Ты, ты – и жажда, ты и утоление.

L. Сентябрь

Где ты ? Зову тебя, вернись, вернись, ведь ты видишь, что я пропадаю, что я истравлен. Как жить без твоего голоса ? Где искать тебя ? О, это молчание, подруга моя, Настенька моя, - это так нелегко, милая, так нелегко, это после недавней-то лавины. Восемь дней, это чересчур, я загнан в тупики, я плохонек. Выведи меня, Настенька, спаси меня, внеси чуточку суши в мою любовь, ей бы не столько истекать в тебя хотелось сейчас, сколько тебя согреть.

Ни в чём не найти ободрения, изживы, и даже к вере в нас все нити оборваны. Затравленно озираюсь вокруг, для всех я нечто в высшей мере незначашее, никому, по существу, нет до меня дела. В деловитых скопищах я не пробуждаю ни заинтересованности, ни дружелюбия, ни даже любопытства. Но единственное моё притязание в этой жизни исполнено как нельзя полнее : я научен любви, и на этом поприще мне сравнений не бояться.

Мне претили величины на шкалах полезности, кем бы они ни отмерялись : полной ли, даже величающейся элитой, эпохой ли, даже самой исторической. Самая большая одарённость, как и самый большой героизм, проявляются в одиночестве. Покажите мне ваше лицо, когда вы совершенно одни, и я скажу, чего стоит ваше величие.

О, эта колкая нежить от неразминуемого *некуда деться* ! Но всякая функция, заносащая в члены этого общества, мне мучительна и гадка. И всякое приспешничество меня унижает, а за всякой гордыней выглядывает одна из моих слабостей, и на неё тотчас накидывается самый безжалостный пересмешник – ирония. Я не хочу быть только плодом моей эпохи или моего края. В средневековье, в нынешней Патагонии или со стократ более невыглядной, чем есть, жизнью, - я хочу оставаться с тем же самым, неподставленным я.

Наш век – это слабость тех, кто умеет верить и чувствовать, засилье тех, кто умеет действовать и отделять. Наследие Века Серебряного распределилось так, что унаследовавшие его чувства – тупы и бесплодны, а делящие их дух лишены живых, волнующих переживаний. Одни рассекают человека и природу и заполняют изложением их содержимого безошибочные и настолько бесчувственные, да к тому же ещё и назидательные страницы, что после них предпочтёшь остаться невеждой. Но другие – это зрелище ещё более жалкое : их яркая внутренняя жизнь не переходит художественного воплощения, их невзрачный труд обречён смехотворству. Но *он предчувствовал* мне ценнее, чем *он сделал*.

Жизни не до меня, она отворачивается от меня. А я, вместо того, чтобы этим воспользоваться и углубиться в разуме её, в тот миг, когда она и не подозревает о моём существовании и подставляет самые уязвимые и уязвлённые места, - я оплошлив и скудомыслив.

Эти монотонные, побочные бредни не перекрывают, к несчастью, моего беспокойства – так довольно же их. Любимая моя, все мыслимые ужасы приходят мне в голову. Не напишешь ли ты мне однажды : *Мои глаза открылись. Моя любовь была лишь игрой увлékшегося воображения. Прости, волей-неволей я завлекла нас слишком далеко. Но и ты, я знаю, излечишься очень-очень скоро. Ну спроси себя сам : на что мы можем надеяться ? Против нас – соображения государств и научных теорий. Мы проживаем жизнь один раз ; не может быть, чтоб ты мог рисковать моею во имя призрака нашего в высшей степени сомнительного будущего. Дай мне дождаться пусть и умеренного какого-то чувства, но которое привело бы мою жизнь в движение, в действие, в действительность, наконец. О тебя я сохраню самые лучшие воспоминания. Что делать, мы всего лишь люди и, к тому же, люди слабые. Нужен какой-то минимум устойчивости, а с тобой не упасть от неуверенности и непокоя. Наша*

игра в счастье была расчудесна, и как не отблагодарить тебя за то, что в течение...

Каким же я становлюсь палачом, когда голова, которую усекаю, - моя собственная ! О, Настенька, моя июльская Настенька, никогда-никогда ты не напишешь мне этого. Как и я, ты убережешь надежду, даже если и зябнуть и дрогнуть ей где-то на дне, забытой, бесполезной. Как и я, ты будешь ждать, даже если тебя навестят такие же самые неудержимые рыдания.

Если ты уйдешь, и уход твой будет подсказан сердцем, я буду знать, что отвернусь от мира, в котором ещё живо чувство и сердечность, и вместо мертвенной горечи я испытал бы лишь чересчур живое сожаление. О, это офранцуженное краснобайство, но и бей меня сегодня русским словом наотмашь – всё мне одинаково невыразительно и безвкусно.

Что за судьба ! Когда мы вместе, нам почти ни к чему слова ; теперь же мы осуждены верить им всё, что только есть несказимого в нашей любви ! То, что было вначале лишь ярмом, стало теперь и помысленной и эпистолярной почвой. Но не молвя крепись, а молвя держись.

Люблю тебя в ясные дни, но как же я люблю тебя во дни крушений, как сегодня.

LI. Сентябрь

Сегодня тебя нет, не будет тебя и завтра, в воскресенье, почта закрыта. Двадцать дней твоей жизни, света моего, без единого луча в моих глазах – но я припадаю к твоей тени, любовь моя, один твой вид магнетизирует меня...

Ко всему готов я в твоих письмах : будь то печаль, или жалобы, или истощение – но пиши мне, не оставляй меня, говори со мной, любовь моя. Будем вместе, разделим ожидания, разделим нежданное.

Настенька, Настенька, я устал, устал смертельно. Чего только ни стоит каждое движение, каждое усилие вне нашей родной, но необъятной, запутанной Вселенной ! Ни на что я не способен без тебя, из-под рук ничего не выходит путного, всё идёт порожнем. Это – истина, одновременно и обескураживающая и поддерживающая надежду. Надеяться, верить – мне кажется, порой, что я забываю их смысл.

Я вглядываюсь, как одержимый, в следы наших лучших воспоминаний и зову тебя, зову. Ах, почему не удаётся обуздать проказящую плоть и велеть телу прозябать до декабря, как мумии, набальзамированной нашим терпением ! Как спуститься на Землю, не теряя головы здесь, в наших вывезенных ночах ! Для нас эта Земля стала бы из рода тех небес, что нынче не нужны людям, седьмыми, что ли. Но ответь, ответь мне – это молчание точит и точит меня.

Помнишь нашу Хартию Объединённых Жизней, призывавшую к миру в мыслях и к мятежу в чувстве ? Половина этой Организации так хотела бы, в эту минуту, передать другой половине всю свою преданность и нежность. Прижмись ко мне, крепче, ближе, - о, руки твои так хорошо знают мои плечи и умеют и увлечь, и зажечь.

На моих окнах нет решёток, я могу колесить по одной шестой части планеты, но я пожизненный узник этого собачьего времени. Что за свободу я вдохну на твоей груди! Что за стены рухнут от соприкосновения наших тел!

Пусть иные копят груз своего прошлого, пропуская сквозь пальцы легко сыплющееся настоящее. Мы собираем сокровище будущего, беря из настоящего лишь слитки, отлитые набухшими сердцами. И всякая нежность, возникшая меж нами, но не допущенная к жизни, говорит *до свидания* нашему будущему.

Ты видишь, как я примиряюсь: запястья расслабляются, и веки застывают и бесслёзно смыкаются – и я вижу тебя, вбираю тебя в себя, в мои ласки. Пусть губы мои не доносят до тебя много жизни, зато сколько нежности...

LII. Октябрь

Подумать только, что эта скамейка знала июль ! Что общего между мной и тем, кто был на ней счастлив ? Ничего. Один. Пуст. Стоит ли дышать. Скажите, Настенька умерла, я пойду за ней следом, сожалея лишь о том, что мы не прожили вместе эти последние дни. Милая тень, родной силуэт, желанный образ – я ваш, я ваш – сохраните меня, я не нахожу себе более места.

И заново кроиться отборному слову, и снова не для того, чтобы сообщить о чём-то совершившемся в человеке, а чтобы приобщить к тому, что никогда не завершается в человеке. Перо берётся в руки ради завтрашнего дня мысли, губы разжимаются ради вчерашнего дня чувства, сердце заходится ото всего того, что изо дня сегодняшнего простирается далеко за завтра или далеко за вчера.

Вчера я думал, что замолкну надолго, - я ошибся, я возвращаюсь к тебе, сердце всё ещё бьётся, руки не забываются, и глаза, пожалуй что, сухи. Вчера я утоплял зовы и молитвы в грохоте улицы, сегодня они взмывают к небу в безмолвии леса. И странное дело, опадающие отзвуки, вместо того, чтобы изъязвлять раны, их зарубцовывают. Искричавшийся, ошалелый, я по-прежнему один, но такой навязчивый раньше призрак крушения моей новорождённой жизни удаляется. Так лучше : без жизни, без самоуглубления, без всматривания ни в даль, ни в чрезмерную близь, не чувствовать ни времени, ни слишком плаксивого сердца, ни слишком кричащего благополучия людей.

Надо бы совсем отказаться от всякой воли, копошиться в этих несовершенных видах, пустячно плакаться, что жалкое изъязвительное наклонение ценнее великолепного, но сострадательного, что ненавистно прошедшее время глагола, ничем не спрягаемого в будущем. Кем же я был прежде ; не знаю, хотя уверяю

тебя, что сейчас я всё ещё тот же самый. Как славно продолжать существовать для тебя, что ни куролесь моя извечная дилемма. Я слишком ясно вижу, что люблю тебя, но на этом останавливается вся моя ясность...

Я пишу уже месяц. О, почему так нежны были твои письма ! Что за низвержение ! Что за невероятное протрезвление ! Зачем счастье моё было таким легкосердным, доверчивым – а ныне его захватывают, ему грозят, его изгоняют.

И вдруг, ни с того, ни с сего, в лёгких что-то надламывается, ущемляет что-то в их соседе, схватывает труднейший аккорд и заставляет умолкнуть всё и вся – *я люблю тебя, Настя !* И будь ты нежна или насмешлива, в этот миг, это ровным счётом ничего не изменяет.

Ты, прекрасная моя подруга, вылетаешь мне навстречу, когда я появлюсь на пороге, ты, улыбающаяся, стройная, лёгкая – *Здравствуй, милый ! Здравствуй, дружок !* Я соскальзываю к твоим коленям, нежность эта невыносима, я обнимаю твои ноги, прячу в них лицо, потом поднимаю голову, ищу глаза твои : *Всё это взаправду, всё это наяву, Настенька ? Да ты ли это ? Не во сне ? Как я унесу столько счастья разом !* И потом, через часы и часы, опять ты, ты приседаешь на край моей кровати, ты склоняешься надо мной, а я, я сокрушён, свален ещё раз этими треклятыми рыданиями, а ты шепчешь мне ласковые слова, ты утираешь мои наводнённые щёки, ты, только ты, ты. И голос твой, боже мой, я слышу твой голос, увлекающий нас на первую нашу скамейку, около Ломоносова, - о эти шаги, отсчитываемые поцелуями, смехом, нашим обретшимся счастьем. О, испытать ещё хоть однажды эту сладость, а потом – уже не терять его вовек – о, ты, тень любимая...

Это бледное небо изводит меня. Я словно под колпаком : всякий раз извне останавливается на оболочке того, что ещё так недавно звалось моей жизнью. Где искать твои губы, Настенька, трудное моё счастье, счастье, сжимающееся попусту в жажде видеть тебя.

Любовь шлёт мой единственный свет, шлёт из под кристального колпака. Напрасно я бьюсь головой о его стенки – до любви моей мне не докричаться. Мёртвый и живой не внемлют друг другу, живой – это она.

Пора расстаться с этим облетающим лесом, не надламывая первых заледей в сердце. С тех пор, как я предпочёл печатные листы безграмотной, но мудрой листве, и натюрморты - умиранию природы, и рифмованную песнь – птичьему разноголосию, - с тех пор я лишь скапливаю одиночество. Моя первая родина, лес, не узнаёт меня больше, не раскрывается передо мной и торопит час моего ухода.

И так, меня не ждут нигде. Становится всё зябче, и где же подлинная осень : в этих опавших листьях ? Во мне ? В этой бестеплице крови или в оттепели под веками ? Ни скривища, ни сбывища, ни голове притула...

Прочь, слова, восклицательные знаки, многоточия, междометия, словесная метафорическая вязь и кружево эпитетов ! - многая лета ретивым почтам ! Ты со мной, ты не ушла, и скоро-скоро я буду держать тебя в своих объятиях. Пока я безуспешно колотился с приглашением к тебе, ты выбила у времени приглашение расстаться с небытием, 31 октября. Время трогается. Я плачу и смеюсь, замираю и взываю, простираюсь и касаюсь небосвода – счастлив ! Кто смел произносить это слово до меня – ну и бедняги же они ! Я не помышляю рассказать тебе всю мою радость, да она и без того, так сказать, вне меня, столь же высока, что и любовь моя, столь же пламенна, что и

моё желание. Что правда то правда, слова отказываются служить, жизнь начинается, время трогается.

Прощайте, прощайте, поветрия зловредных сомнений. Ты любишь, золотце моё ! И как же мы будем любить друг друга через месяц, да что я там такое говорю – через 28 дней всего лишь ! Свобода, свобода, свобода – переливаются, подрываются все опешившие колокольни. Значит, в Ленинграде, любовь моя. Боже мой, боже, я трепещу как лист осиновый, я неуклюж, потешен, весь в этой неуёмной смешливой дрожи. О, только бы нам очутиться на одном и том же клочке земли, только бы взгляду твоему остановиться на мне, и я снова стану твоим сияющим, легкокрылым паладином – и сердце моё всюду, где залучится светлая жизнь.

LIИ. Октябрь

Когда сердце окатывает разошедшимися невзгодами, моё перо чувствует себя словно в своей стихии. Но вот сегодня оно неуклюже и будто бы не у дела, ведь повсюду мирно плещется что-то светозарное и тишайшее.

У несчастья тысяча лиц, у счастья лишь одно, да к тому же никак не подстраивающееся под ладные личины или обличья. Несчастье заливает все уголки, проникает всюду, счастье же сосредотачивается в одной единственной точке, в той самой, что им поражена. Несчастье заметишь, и не трогаясь с места, не всматриваясь. Чтобы передать подменное счастье, нужны чуткие, то есть разом и пронизательные и тонкие глаза, нужно верно преломляющее воображение, вернее микроскопа.

Человек как будто сторонится счастья. Насколько почтенны трагедии, но кто возьмётся за повествование о счастье. Вдохновение приходит лишь в одиночестве, а наедине с самим собой, в минуты самой голосердной искренности, человек грустнеет. И чтобы вдохновение заработало, надо бы сладкого, да не досыта, горького, да не до слёз.

Быть счастливым значит возвыситься над человеческой природой. Счастье – это мужество и вера сердца, счастье – это то, что дано мне сейчас, когда я думаю о тебе. Что за жизнь ты приоткрываешь передо мной, Настя, - и так ровно дыхание, и так незамутнённо сознание, время исходчиво и беды изживны.

И ты говоришь мне, ты, нежная, бесподобная любовь моя, что любишь, любишь меня, не запускающего межпланетных ракет, не торжествующего на шахматных турнирах, даже не печатающего своих стихов. И ты говоришь мне даже о восхищении, моя добрая

избранушка, - я улыбаюсь благодарю и почти что верю. На какое-то время я избавляюсь от привычного призрака своего ничтожества, я исполняюсь тем величием, которое может внушить только любовь.

Истина встаёт из сомнения, истина в нас, а потому и самые мощные сомнения сосредотачиваются на нас самих – вот таким хромым силлогизмом пытаюсь я обелить свои въедчивые, горемычные самооговоры. Вне нас нет истины, и вне нас все сомнения равнозначны, но на них художественное чутьё создаёт правдоподобный и гармоничный мир – вот так я пытаюсь растрясать своё вылёживание и понудить к работанью. Это же скромное воспроизведение акта творения, с одним и тем же побудным началом, воображением.

Самое последнее дело в литературе – увязать в том, что не стоит нашей остановки, приценивания и суда, а без этого, увы, всякий перл обесценивается. Я не хочу иметь своего мнения о вещах второстепенных, коих между прочим, большинство, но и во мнениях о вещах достойных мне ценно не правдоподобие, а насыщенность тонкой поэзией или широкой иронией. На картезианском языке это называется, вероятно, подлинной терпимостью, которая больше, чем простое допускание чужого мнения.

Пусть иные велики в х-м году, я буду им после всех дат, за той гранью, которая проходит между текущим и вечным и рассекает надвое каждого из нас. Мои руки и мозг пересекут её, оставаясь незамеченными людьми, но сердце моё – т-с-с, это самое сердце недолюбливает упоминания пределов, межей и рубежей, оно вваливается всё целиком в образ твой и, право же, тем доказывает свою беспредельность.

Итак, жду тебя, любовь, в 5 часов, 31 октября, на Банковском мостике. Ты спасаешь нас этим грандиозным замыслом, встретиться

осенью. О, этот кстати подвернувшийся Интурист ! Да будут благословенны славные бунтовщики 17-го года, избравшие этот месяц для своей спасительной затеи. Меньше всего они, конечно, думали о нас.

LIV. Октябрь

Разлук больше не будет - какая новость, какая радость – и ещё одним письмом больше ! Я – перводока счастья, я насквозь в нём, оно брызнет из всех пор, я им залит, Настенька. Опускаю глаза, потрясённый, смиренный, - жизнь моя, Настенька моя, - вы – мои ? Тебе – зачинать все мои утра ? Тебе – быть счастливой близостью ко мне ?

Нежная моя, как же мы будем счастливы 9-го ноября ! Этот день не станет вторым 4-м августа. Всякая слеза заговорит на языке обнадёживающей мысли или бесхитростной веры. Ну как ещё расписать моё однолюбое счастье ; оно обкладывает, стискивает, обволакивает меня. Не вижу его пределов, ни его красок, я растериваю пропорции и оттенки, я так захвачен, так ослеплён. Это ли значит – заболеть любовью...

Ты просишь рассказать о моём времяпрепровождении. Оно тебя разочарует, но вот оно.

Чуть я открою глаза, как тут же встаёт задача из сфер наивысшей математики : сколько там ещё остаётся до 31 октября (25 декабря) ? Сладив с нею, я слежу, как на потолке разыгрывается фильм о нашей встрече. Не найти экрана шире, когда небо западает чересчур высоко.

Обязательный утренний марафон заносит меня к Ломоносову, на почту, где я заклинаю ящичек с буквой О. Когда заговоры мои не срабатывают, приходится предаваться моему противоволшебному ремеслу. Надо поднатореть, чтобы этой зимой не угодить в разряд законопротивных паразитов. С тех пор, как я завёл речь о твоём приглашении, участливое начальство живо интересуется сокращением штатов на моей кафедре.

Пополудни навещаюсь ещё разок к достопримечательностям заглавного О. Заставим лишь развалины и запустения, тащусь с пещёрным чувством в своё общежитие, то ль для излиятий, то ль для возлияний с известным тебе схимником. Мы пускаемся с произвольного вокзала в произвольный лес, где я забарматываюсь в сбивчивых отступлениях, а он знай кивает головой да издаёт свои метафизические комментарии. У него какое-то женственное жизневосприятие : всякую честность он разглядывает в свете чего-то обобщающего. Мужественнее (и поэтичнее !) – увидеть абсолютное в каждой случайности и найти новые обобщения и сближения с другими, уже явившимися мирами. Я благодарен жизнеподобию его взглядов, порой отвлекавших меня от разразбойничавшихся чувств или вызволявших голову у откупщика-сердца. Когда бы спутник мой и не был способен разделять, он ободряет ; когда бы в нём и не было романтизма, у него свободная и умнящая душа ; когда бы он и не разжигал, он доносит свежего воздуха : когда бы он и не понимал, он способен верить.

Вечер соединяет нас, тебя и меня, над страницей, с уже кое-какими вчерашними пометами. Мечты утра и потуги дня ищут своего голоса в разноголосице путаных слов.

Ты уже давно знаешь, что мои мысли не притираются к событиям и часам, как это всеми принято для удобств и взаимообменов или, просто, по обычной порожности в словесном сердце. Моим мыслям по себе во внеременье и внепространственности, а к тому же, я и не замечаю дел, в которых нет тебя, прохожу мимо.

Слово и есть творчество, когда не дословный расчёт распоряжается разношёрстными мыслями, а нарастающая мысль движет языком, для которого не так правильность и правдолюбие важны, как сам по себе приход мысли, как ночи, как камня под ногу, как снега на голову.

Слово творит состояние души, как туман – росу, а согласен ли с ним творец или нет – не имеет значения.

С тобой я искренен, как художник, который не приукрашивает своих моделей и вовсе не думает о скрашивании их недостатков или выпячивании достоинств. Он создаёт жизнь, заново встающую из его постижения модели. Он извлекает из неё то, что передаёт его идею, его цель (увиденные и означенные им самим) и оставляет в стороне всё то, что представляется его чутью случайным, неважным или чужеродным (хотя и могущим стать существенным на другом полотне, для другой школы, в других глазах).

Моя жизнь, в глазах других, не имеет почти ничего общего с той, что открыта тебе, и всё же я искренен как с тобой, так и с ними. Равнодушным можно объявить имена красок, но лишь с посвящёнными можно написать, с их помощью ; опивающий образ : мысль или чувство.

С меня хватает двух красок, двух красот – это ты и моя любовь. Первой я восхищаюсь только сквозь нежность второй, второй я горжусь только от её зачатия в первой.

Ты сказала мне : *поэтизируют только то, чем не обладают*. Пусть так, но я добавлю, что поэт и не владеет ничем, теряя порой ярлык и на собственное сердце. *Всё моё и у меня нет ничего* - синонимы для поэта. Нищий везде сыщёт. Он всё захватывает и всё сдаёт по своей воле. Вот так ему удаётся опозэтизировать то, что накаляет вот эту искру или касается вот этой струны.

LV. Октябрь

Попутные улыбки, подцепившаяся к обочию насупленность и прочая безответная и безбилетная мимика проносится лицом. Сегодня оно - маска, жизнь отхлынула в сторону недр и нутр. Путей сообщения с тобой ещё не внесли ни в расписания, ни в карты, ни в словари. Но по ним меня уже перенесло через рвы самых подкашивающих бедствий, над разлившимися горечами и сквозь завалы жизни.

Сегодня я хотел бы найти в своей жизни ту мягкость, которая облекла бы твои трудные дни, то богатство, которое, в ледяную пору, взяло бы на иждивение твоё одиночество. Я хотел бы выстроить из своей жизни приют для твоих стеснённых шагов, разрядку для твоих неприкаянных сомнений. В июле ты открыла мне пределы возможного, теперь ты доказываешь мне одну невозможность – жить без тебя. Кого благодарить : моё упрямое сердце, твою чуткость, бога правого ?

Нужно сделать из ожидания – нашего сообщника. Чувства я ещё не обучил этому. Этих заплечных дел мастера истязают тело, но сердце, сердце пьёт самую чистую, самую пьянящую, самую раскрепощающую радость – что за письма, любимая моя, нежная ладушка. Я дал себе волю : перечитываю тебя – как это всё неслыханно, ослепительно, милая моя писательница. Если однажды я смогу перечесть твои письма вот без этого пламени на щеках, я для любви буду невосполнимо потерян.

Слушаю твою пластинку со славными песнями на славные слова. Прекрасный стих – это дивная страна с живописью пейзажа, с туманом вершины, с тайной пропастью, страна, где поют ручьи и молкнут луга, где общий тон вырастает из множества красок, запахов, вкусов.

Музыка на стихи – это документальный фильм об этой стране, с многозвучием и многообразием. Эта музыка может стать интереснее самого путешествия в эту страну, хотя общее впечатление и сложится лишь из одного чувства – зрения (слуха). Как зрению донести шелковистость травы, порывы ветра, аромат цветов, страх и вызов опасности? И ход времени и переплетения в пространстве преломляются. Хороший киношник сработает прекрасный фильм и о самой жалкой стране, не пробуждая даже желания её навестить (что, кстати, вовсе не обязано быть среди замыслов фильма). Но создать прекрасный фильм о прекрасной стране требует больше и творчества и артистизма. Я хотел просто-напросто сказать, что а) никакой фильм не украсит страны, б) никакой фильм не передаст внутренней жизни страны, в) прекрасная страна не нуждается в рекламных фильмах, г) с твоей пластинки я слышу поэзию и задушевность.

Жду тебя, любовь моя! Я, незнаемый, забытый отшельник, не угадавший ни своих сил, ни своих завтрашних дней, безрассудный, нехваткий, оплошливый в мелочной лавке буден. Жду тебя, потому что больше не могу вести себя иначе. Даже жертвовать своим спасением для твоего умиротворения и благополучия, без меня, - не могу, разучился.

Неизбежное всегда смущает и пугает, пугает нашу свободу, вопреки разуму, вопреки увещаниям сердца, это неизбежное – моя любовь. Можно стать злее, толстокожее, завирущее, но ничего я не могу изменить в своей любви.

Какое спокойствие вернётся в наши письма вслед за уходом нашего содружника, 9-го ноября, когда мы примемся за деятельную подготовку к жизни, близкой, осязаемой. И пусть год новый уж не разделяет больше в два русла наши дни! Ты веришь в это, малышка? Ты хочешь этого, славная моя? Ты ждёшь этого, любимая?

Всю нежность, всё, всё, что изъясняется на языке любви, - тебе,
моя жизнь, моя больше чем надежда...

LVI. Октябрь

Как не позавидовать твоим глазам, читающим эти строчки за какие-то десять дней до нашей невской сходимки ! Но наш предвозвестник – июль уже вовсю расписывает скорые наши дни, волшебство твоей мягкости, чудеса соединённых рук. Ведь я уже не новичок на уроках твоей души, ведь и самого себя я уже узнал, исполнившись тобою.

Я хочу покорять тебя каждый день заново и открывать тебя, с каждым днём, всё свободнее и захватывающее. Чтоб каждый день ты заново помнила мои чувства. Чтоб каждый день ты слышала моё волнение и желание. И когда нами самими владеет любовь, обладать друг другом. И пусть жизнь эта будет столь же далека притворства и пошлости, как далека им наша любовь. И в самом одиночестве быть гордыми за нас, да и кому добраться до нашего высокого единения, чтобы изумляться его вершинам !

А ты прихворнула, дорогой мой малыш, пригорюнившая моя девочка. Дай мне встать на колени у твоего изголовья, любовь моя, и гладить тебя по волосам, и окунаться в твои глаза, и мямлить что-нибудь об уюте и неге. После твоего письма мне, дуралею, стыдно. Понимаешь ли, Настенька, счастье моё, что чудо, именуемое *ты любишь меня !*, приобретает близ меня такую головокружительную силу, что я, право, совсем было потерялся и растерялся, заглядевшись на него. Задворки сомнений я принял за придворный круг своей затворной, непоказной жизни. Да будут мне неповадны эти сошествия в низкие слободы и предместья. Забудем, вернёмся к парадному башни из слоновой кости. Видишь, как чарующе это неохватное зрелище, этот край твоей любви, раскинувшийся перед моим хозяйничающим сердцем ! Научившись вглядываться друг в друга,

надеяться и отрешаться от почвы, мы научились и любить, и вселяться в иберийские замки. То, что кристаллизуется во взгляде, не застывает, а вновь обращается первичным сырьём, обрабатываемым удивлениями, желаниями ; жизнь моя в тебе – Феникс.

Я буду любить тебя, моя хорошая, любить и мечтой и делом, истечением времени или застоём жизни, в успеянии или неудаче, в иночестве или при балаганном шуме. Ты просишь иногда защитить, заслонить тебя – нежная моя, ты уже знаешь, что я не боец, мне не вытеснить, не побороть хватких наших современников, не впрячься хозяйски в жизненную гонку, не впасть, не сватажиться. Скорее, я приструню самого себя, чем встроюсь винтиком в бездушный механизм подольных свор и стай. Если нам угрожат вторженьем, первой мыслью моей будет : укрыться в одиночестве, в нашей незабичной и обращённой внутрь задушевности.

Вскидываться и отвечать ударом на удар значит ставить себя на тот же уровень, что и наш обидчик, значит признать его нашей ровней, поплечником, значит сложить наши крылья, чтобы сразиться с пресмыкающимися. Пусть они жалят нас в ноги – крылья и сердца им недоступны. Я понимаю, что рассуждение это многоущербно и легкоопровержимо, но неврачливость как часть внутренней свободы это одна из тех самоценностей, что смехотворны логике и весомы чувству. Отстаивать что-то значит притязать на владение, но во всяком обладании есть и доля нашего закрепощения предмету обладания. Надо бы радоваться всякому внешнему благу, но не омрачаться от его отсутствия.

Я постоянно наведываюсь к средоточию своей природы, обнажённому и первичному, и на её краях складываю всё, что лишь мимолётно меня заполняло. Эта очистительная работа приводит во внутреннее состояние новообращённого, напоминающего, почти новорождённого. И потому дом, в котором живу, дела, которыми занят,

шар земной, на котором обитаю, так мало заключают меня, что мне без труда перенеслось бы в каждый край, на другую планету. Всё мне кажется случайным, наносным, необязательным – в том, что не касается моей вычищенной самобытности.

Любовь наносит одинаковой беспочвенности и одинакового опьянения как в достоинства, так и в недостатки, что не очень-то способствует трезвому взгляду на то, чего я стою. Стать лучше ? – нет, не этого я ищу (до сравнительных ли степеней влюблённому !) – сохранить то, что сейчас доступно сердцу – это уже звучит лучше. *Wer spricht you Siegen ; überstehn ist alles !*

Быть вместе, быть далеко от злобы людей, иметь угол для преклонения голов и сердец – бог удачи, бог исключений, бог безурочья, посмотри в нашу сторону, благослови нас.

LVII. Октябрь

Две недели, милая, всего две недели – слышишь ли ты через них моё сердце, жаждущее тебя, и шаги, устремляющиеся к тебе ? Как же ты близко, как же любимые твои глаза близко ! Ты здесь, ты моя, ты – это я, ты – это жизнь, единственная жизнь, жизнь, примиряющая меня с этим миром, жизнь, что я люблю, жизнь вдвоём !

Вот и ты тоже заговорила о бессилии счастья. Твоё жалобное-прежалобное письмо от 12-го почти и не говорит со мной : лишь дыхание, лишь вздрагивания доходят до меня. Губы мои ему нужны, а не глаза.

Дня поубавилось, ubyло и ночных допросов осиротелому телу. Природа – сообщница словно прикрывает наше бегство и не подпускает неприятелей 31-го октября. В катакомбах сомнения и в лабиринтах желания я оставил лишь своих полномочных опричников, они отмахиваются приёмисто и от правых и от неправых.

Да, да, у времени, наконец, где-то произошла утечка : его течением увлекается наша вечность, почти столь же бесповоротная, что и моя любовь.

Не отрываю глаз от горизонта нашей жизни, жду восхода нашего солнца, а сам уже залит предзорьями с ранних облаков. Зефир лепечет о средиземноморском крае, шелестит что-то о скорой заре. Теперь я вижу : бежать за сновидением, торопить мою радость – лишь вконец измотаться. Наше светило слишком велико, его орбиты слишком высоки, чтобы мы могли что-либо изменить, просто переступая по Земле. Но засияв однажды над нами, оно вызовет к жизни столько отважных Икаров, готовых испепелиться и опалить нас новым, живым пламенем.

Наша эпистолярная одиссея скоро оборвётся. Она была небезоблачна и бурна. Лотофаги расстояния покушались на нашу память, Циклопы робости не подпускали к сокровищу самозабвения, Сирены сомнений околдовывали нашу волю. На границах надежды вставали Сицилла и Харибда фактов, Калипсо твоего образа норовила занять твоё место, но наши сердца, эти Пенелопы, ткали основу нашей веры, пока губы – странницы путешествовали по бурливым страницам, - и вот он, перед нами, ковёр жизни. Ты даёшь мне руку ? Нам пора сделать первый шаг.

Земля снова, наконец, замирает под ногами. В небе вдруг лишь чистый воздух для высвободившихся лёгких. Дождь - чистые слезинки счастья, солнце – сияние улыбок. Какой я сегодня никудышный поэт, зато какой счастливый земножитель ! А поэзия – это сластолюбивое погружение в женственность, и не время сейчас испрашивать такие угрозы. Беру себя в железные руки. Хочу ласкать лишь тень твою, обладать лишь памятью твоей и не допускать иного любострастия кроме неподвижности ожидания.

В эти десять дней мне, конечно, ещё доведётся шушукаться с тобой на языке, не освоенном письменностью, но как не соединить нас и вот на этом клочке бумаги, за этим столиком, где моей рукой запечатлено столько радостей, горестей и более всего, слов любви.

Чтобы уйти на минуту подальше от всякого восхотения, я добегаю до самого детства ! Детство – это наша совесть, наша вещная связь с бесконечным, голос простоты и открытость сердца. При упоминании детства сердце сжимается. И не из-за каких-то особых верований (в этом возрасте они лишь рабство слабого духа, а не движение души), не из-за безобидности (в мотиве, а не в размахе вес дел, и среди детей столько же жестокосердых, сколько и среди взрослых), не из-за свободы (которая заслуженна лишь в ссылке на осознанное право) – сердце сжимается от острого ощущения какого-то иного мира,

прошлого мира, к котором некое существо, в сущности мой прообраз, мой предтеча, мой источник, мой творец в каком-то смысле, смотрит на меня добродушно и наивно. Ему грозит стирание с лица времени : оно просит защиты у меня, у моей памяти, у моего воображения, у моей благодарности – только они могут продлить его жизнь, только они, *the catchers in the rye*, могут ещё вырасти на краю пропасти, перед которой резвится мой далёкий предок.

В окно ещё не заглянула любопытствующая заря, чтобы запрудить извержения твоего полуночника. Всё же этим стихийным бедствием выносятся наружу то, что обычно погребает разлука. Но при встрече, я знаю наша радость будет себялюбива : она и не подумает возместить ущерб удушаемым нынче чувствам : она заполнит до краёв наши две жизни и возденет глаза к свету. Ведь видеть тебя, касаться тебя и хранить в памяти боль, от тебя исходившую, - невозможно ! У причала твоих рук я оставляю, поставлю все армады горестей-пиратов и усмирю всякую бурю, из рода тех, что трепали меня со времён августовского крушения. Нежность моя бросит там свои якоря, нежность, просолённая в ледовитых океанах разлуки.

За десять дней до нашего счастья я иду к тебе, как доверяется утро неминуемому вечеру, я иду к тебе с жизнью, теплящейся среди айсбергов стран и льдин человеков. Забытыми, неведомыми – но быть вместе, всего-навсего быть вместе – неизвестными – тем лучше – кому нас понять. Девочка моя, все мои поцелуи ищут тебя, все взгляды ласкают. Помнишь ли ты ещё голос мой, выстаннывающий твоё имя ? Без тебя, этот голос раскалывается о попавшихся под руку вещи и растекается по их мёртвой коже.

LVIII. Ноябрь

Вчера я не смог написать тебе, моя сладкая. За целый день я не сдвинулся с места. Суеверно, на кончиках сердца, перебирал и перебирал чётки нашего ноября. Даже мечтать не удавалось : я видел тебя, сияющую, на набережной Мойки, на полянах близ Павловска, в галереях Царского Села, в анфиладах Русского музея – люблю, люблю тебя, обожание моё ! И этот день без тебя, проглоченный Интуристом, и этот дождь на Пушкинской площади, стегавший по лицу мою Настеньку, меня ждущую Настеньку, как и я ждал её. Но всё это – видимость, внешность, а жизнь, а суть – это дано лишь нашим глазам, погружающимся друг в друга, встречаю рук, столкновеньям улыбок, всплескам сердец. О эти вечера украдкой, их безмолвия и их вздохи, о эти тихие утра – люблю тебя, родная, родная, - а вот и ласки твои, я всё полон ими, всё полон.

Ты здесь, ты не улетела, вот ещё и руки твои, я подношу их к губам – Настенька, Настенька, я жду тебя, снова жду тебя, жизнь моя, жду, жду. Скорей, скорей пробегите, студёные месяцы, затеняющие наш солнечный февраль, - умалите до времени расходящуюся колоть в сердце, отуманьте взгляды, заискавшиеся и заждавшиеся, сберегите тела, которые скоро-скоро заговорят вновь о своей жажде. Но час строгих распорядков ещё не пробил, и моё воображение – нет, что-то более живое и плотное – рискует всё, рисует всё, не стужёвываясь ни перед чем, избыточествуя, излишествуя всякой негой.

Однажды утром ты выйдешь мне навстречу, я за руки возьму тебя, и наш неслышный поцелуй покроет гул принимающий нас, тароватой, ущедрённой жизни. Твои слова будут такими же жаркими, как позавчера, в последний наш вечер, в *Адриатике*, и глаза мои так же близки твоим губам.

Мыслимое ли раньше дело : узнавши такое счастье, не удариться в чёрную тоску. Нет, нет, судорог нет, как нет и отчаяния. Ты рядом, доступная и лёгкая, и я пребойко отбиваюсь от колебаний прошлого, крутящихся над нашей любовью, - вот на какие чудеса стала способна наша умудрённая вера. Но как же мы стоим этого счастья ! Мы продирались к нему по тропам безысходной печали и опустившихся рук, и вот уж позади пошлости и тупики здравого смысла, а впереди – вот и оно, это счастье, столь громадное и безбрежное, что с пути нас не сбить, даже и ослепив. Люблю тебя, нежный дружок, и на этот раз смог бы взбодрить и других, тех, кто донимается в *нестандартной* любви, робея и колеблясь перед лицом бескрайнего ожидания. Ведь я узнаю, во всей её сладости, любовь женщины.

Эти восемь дней затмили июльскую радость. Спасибо твоему чуду-сердцу за чуткость, твоему телу-тайне за пламенность. Мне хорошо выше всякой меры, я счастлив, вернись скорее, дай признаться, наконец, что я люблю тебя ! Пусть слова снова затрепещут под твоим влюблённым взглядом, пусть желание увлечёт всё то, что я ласкал – тридцать часов назад – до свидания, любовь, - думай о нас, нежная.

Моя любовь ютится там, куда не проникают слова. Чтобы писать тебе, я ищу их в окрестностных кладовых. Но как же завидуют эти бледные оскрёбыши той несказимой перемолви, что длится, не переставая, в моём сердце ! Читай лучше в своей памяти мои вскрики, лепеты, шёпоты. Ах, найди, найди в них, милая, красноречие губ и ладоней !

Закрываю глаза, шепчу *Люблю тебя !* - вот так они учатся смотреть в бесконечность, видеть незримое, вот так они отправляются в страну прозрачной мечты. И ожидание словно и не обрывалось, и руки всё тоскуют по тебе. Вот уже семь месяцев, как я сказал в первый раз *Люблю*, но всякий раз, как слово это вырастает в мечте или на губах, я схватываю себя на мысли, что на меня ложится вся волнующая

тяжесть первого объяснения в любви. Этой весной мы открыли существование жизни, саму жизнь мы приоткрыли этим летом, в лицо ей мы заглянули осенью – и наконец, зимой, вот увидишь, эта помычливая спесивица сдастся и вольётся в наши *ряды*.

Пока же нас обезложили, обездолили. И моё тысячеокое государство сделает всё, чтобы мне не дались эти злосчастные четыре стены, меж которых я смог бы, наконец, поселить твой силуэт. О, эти неухватимые, бесценные стены, что принялись бы, как и я, замороженно отсчитывать дни ожидания, ожидания твоего голоса, угадывания твоих шагов. Но молитвы места не ищут...

Прощай, моя таинственная, моя непознаваемая! Верить в нас значит ещё и верить, что сердцем нам никогда не узнать друг друга до конца, до исчерпания, и что в нас навсегда сохранится эта жажда взаимооткрытия.

Нужно ли повторять, что жизнь не стопорится, она множится и пестуется, одушевлённая этой неприкаянной, неусыпной, пропащей любовью. Где он, тот поцелуй, что вберёт в себя все заглушённые крики, все связанные желания, все безответные вопросы! И всю ненавистность ожидания, ожидания до всех краёв небес.

Сердце бьётся безудержно, изо всех сил, сил, пробуждённых навсегда, оно бьётся за тебя, любовь! Весь истекаю в тебя...

LIX. Ноябрь

Пять минут назад твой голос ещё сотрясал меня, вцепившегося в опешившую телефонную трубку, и её дрожь ещё жива в руке, которая пишет эти строчки – эта боль сладка.

Новогодние – наше ! Добрая, заботливая моя любовь ! Ну как же ты щедра на чудеса – тем воскресать в третий раз – приди, приди, моя далёкая. Так кстати подвернулось ноябрьское сокровище – но насколько драгоценнее станет декабрь ! О, забытья, отвлечься от этого дикого, чуждого времени, о, расслабиться, обмануться хотя бы на неделю нашего ликования ! Жизнь нам улыбнётся, люди и государства закроют глаза на крамольность нашего счастья – останется лишь быть счастливыми, то-есть быть вместе, с заступником нашим и убажителем беззакония – нашей любовью ! Что это я впал в патетику, восклицательные знаки сыпятся как из ведра и, чего доброго, вскружат мне голову.

Жду тебя, прекрасная моя любовь ! Это ожидание так прозрачно, что сквозь него я уже различаю новогодние поцелуи. Меня больше не источит этот жуткий провал, ложившийся перед жизнью накануне твоего ухода. Чуткая память возьмётся за меня, и каждым утром, когда тебя уже не будет рядом со мной, я прошепчу *С добрым утром, малышка !*, а вечером моя утешная улыбка обласкает тебя тихим-претихим *Покойной ночи, свет мой !...*

Жизнь гнусна без тебя, Настя, славная Настя, - вновь взвинчиваются руки, как я ни подавляй все мятежи. Снова напрашиваются проклятия, снова подходят горлом хрипы, а всё-таки надо было бы благодарить рачительную жизнь за тот сентябрьский день, когда она попустительствовала мом первым взглядам на счастье. Она ещё взъерепенивается и перезапасается новой бдительностью, но

для неё мы уже упущены и ей более не попутчики. Отбедовались мы в ней. Узы, что связали нас, из тех, что она ещё не научилась расторгать. Мы ещё обратим её в свою упряжку, когда окажемся вместе, мы приручим её, эту запущенную, заезженную жизнь. Ох, эта стоеросовая жизнь, с полярным пульсом и ненасытными когтями !

Я так беспомощен и безоружен перед гнётом и самоуверенностью землян, потому что все снаряжения и оснастки воли идут в те области, где правят смирение, безмолвие и магнетизм сердец. Мои сопланетники сводят существование к защите своего счастья, напродёр идущего по жизни. Однажды эти охранчивые собственники обнаруживают, что средств защиты перенакоплено впрок, а вот защищать-то более нечего – это, пожалуй, всегдашний итог чувства деятельного. Я не боец. Мне не до забиячеств и розней, и лучшая моя защита – не допускать в пределы сердца того, что не достойно соседствовать с моей любовью и могло бы её умалить.

Не обиходить любви. Не стараться просветить её иногда удающимися вовне проблесками, но и всматриваться в неё не только заснеженными глазами. Ведь самая большая, что называется подзвёздная тайна не раскроется и в самых ярких молниях, а редчайшие откровения делают её, как известно, лишь ещё более неисповедимой. Я ношу в себе свою любовь, не пытаюсь ни разрешить её, ни на ключ замкнуть. Она глубока, мне ежедневно удаётся черпать в ней новую свежесть. Только бы не рухнуть в этот не ограждённый кладёзь, но и не поддаваться искушению затаиться в нём, пережидая караваны работорговцев.

Ты поймёшь, и простишь, и высушишь эти слёзы. И улыбнёшься мне, как ещё улыбнись тебе и я, быть может, в конце этого письма. Не волнуйся, на нашу зиму я смотрю с прежним обожанием, а если слова и вздохи стали чуть всполошной и плаксивей, чем обычно, то это лишь от того, что жизнь меня травит, а надо цапаться и схлёстываться с

нею, чтобы привить к ней, хоть насильно, нашу любовь. Эта изнурительная и унижительная хлопотня о крыше над нашей головой, а потом, вдруг, *пропади всё пропадом*, и я бездействую, повитый твоей близостью.

Как земная безнадёжь, так и заоблачное прекраснодушие – чада моей любви. Но в нашу звезду я верю и тогда, когда вижу лишь её отражения в застойном человеческом болоте. Нужно, нужно обтираться об их бока, знакомиться с их смрадом и прытью, вымалывать уголок на их планете, где бы мы могли тянуться к нашему солнцу и взывать к нашим звёздам.

Десятки издевательских, глумливых лиц проходят предо мною : чиновники, прохвосты, дельцы. Разжалобить их – ох как нелегко ! Но нужно, я снова и снова тащусь, бросаюсь, унижаюсь, надеясь разглядеть в чём-нибудь какую-то, хоть мелость приметную нить для нашей надежды. На древо времени не падает солнце любви, и всем его плодам нужнее унавоженье да урезание застарелых побегов.

Люблю тебя без растолкования, без знания корня и смысла нашей жизни, всё это глубже и неизбежней, чем чувства красоты и добра.

LX. Декабрь

Руки ещё ухитряются откапывать следы твоего пребывания, эти недели так и не оторвали тебя от меня. А кто лучший поводырь наших прогулок : счастье воспоминаний ? Воспоминание о нашем счастье ? Вера в завтра или завтрашний день нашей веры ? – как же мы насмотрелись друг на друга в кошмарах, в самый раз было бы соединить нас и в покое. Разлука проясняет дружбу, но нагоняет тумана в любовь. Вера поддерживает друзей, но подтачивает терпение влюблённых. Друг спрашивает *Как жить ?*, влюблённый – *Для чего ?*.

За твоими письмами я забываю проклятия эпох и стран. О этот женский голос со дна вулканов и арктических пещер ! Но каким эрзацем, какой иллюзией чувства выместить твою близость – наше единственное благо – быть вместе. А тут ещё эта подлая почта, это гнусное ожидание.

Я не расстаюсь ни на минуту со своим эпистолярным сокровищем. Перечитывая его, я впадаю в совершенное блаженство. До чего я горд этим чудом-чувством, блеском и задушевностью твоих бесподобных слов ! Как же выучиться усыпительному щебетанью или науке пробуждения без колотящегося сердца ! Как излить в тебя нежные приливы, загруженные долготерпением и бездарностью слова, - но Рождество уж близко, оно станет наперебой окунать нас в нерассказанные сны.

А вот и наша первая зима, с кое-какими звёздами, разбросанными там и сям в поглупевшем небе, с кучей растопленного, стаявшего, забытого льда и с тем самым часом, что застыл однажды на излюбленном циферблате. Я присел на нашей скамье, идя на переговорный пункт, и, как видишь, не удержался, чтобы не сказать тебе *люблю...*

Что со мной случилось ? Да ведь ты сама услышала, почувствовала – я всё влюблённей становлюсь, счастье моё ! И разговор наш был первостатейный, расчудесный ! Лепет и смех мой, и крики – донесли ли они до тебя мою радость ? О, ты придёшь, улыбающаяся, и на твоём плече я выплачу всё моё нетерпение, всю слабость. Настенька, о наконец-то, наконец, я стану шептать это имя, забывая о подсмотрщицких морях и временах ! Я вдыхаю твою близость, предвкушаю твоё дыхание на моих губах, упиваюсь твоей улыбкой, любовь, жизнь моя. Я не один приду к тебе навстречу, со мной будет твоя любовь. Мы помогаем друг другу ждать, я что-то бормочу ей о благодарности, о преждевременном волнении, она же утешает и утешает меня. Сладкая, сладкая моя, разошедшейся груди не хватает руки твоей ; слух понапрасну расточается без твоего голоса – приходи, приходи.

В эти медлительные вечера ты чувствуешь ли, как наш сдружник-февраль что-то толкует о солнце, о ласковом море, о поцелуях, растопляющих снега всех Альп и Карпат, встрявших между тобой и мной. Я вспоминаю твою первую чаровницу-улыбку на Банковском мостике, твои ластящиеся к моим щёки, я вспоминаю и раннее-прераннее утро 3-го ноября, и мне хочется угадать, что ты ещё не разучилась произносить с нежностью моё имя.

И скоро, так скоро, что я, уже узнаю его походку, скоро придёт день, когда с нас будет довольно расставаний. Ты закроешь глаза в ответ на мой бессловесный призыв, наши губы найдут друг друга, и когда, наконец, наши веки дрогнут, мир уже не будет тем же самым.

Лишь любовь умеет оживлять вещи и овеществлять образы, не сотворяя кумира из первых и не опрозаивая вторых.

Твой голос раздаётся со всех сторон и не даёт мне приняться за отсчёт часов и дней. Биения нашего счастья занимают сегодня не

только озвучиванием памяти, они уже принадлежат нашему Новогодию. Сегодня снова *счастлива* и *люблю тебя* предназначались дням грядущим и не возбуждали ревности к прошлому.

Хорошо вдруг увидеть все вещи вокруг словно в первый раз, в выползающем на белый свет первобытном хаосе. Хорошо уметь увенчать ореолом даже то, что самым просвещённым мамонтам кажется зауряднейшей безделицей. Хорошо смеяться над земными препонами, когда мечта возносит над ними, а глаза всевидящи и ... закрыты.

Мы нашли друг друга. Напрасно нас обучили разным языкам, напрасно забросили на разные материки, напрасно манили серью и непосредственностью – мы здесь, совсем-совсем близко, и там, где мы вместе, мира этого нет. Но так и быть, ещё раз благословлю этот мир, допускающий наше 22-е декабря и не отдающий на пожирание цензуре кое-какие из этих страничек.

Вместе, это слово следует за мной, как призрак или, вернее, призрак этот – я. И я волочусь за ним, выклянчивая его секреты. Тебе удастся, я знаю, сделать так, что однажды я посмотрю на нашу *вместность* с тем же запанибратством, с каким я обращался к послеиюльской раздельности. Моё терпение выросло ; я не мечусь более в цепях одиночества, они бы от того въелись ещё глубже в плоть и стали бы ещё тяжче.

Я привязываюсь, в себе самом, лишь к одной, неизгладимой точке, той, над которой не властны ни время, ни люди. И единственное, что меня притягивает к существованию – это нежность и мысль. С тобой эти две, прежде несовместимые вещи зажили рядом. Я уж не размышляю вдали страны Нежного, а поселяясь в ней, не стыжусь своего происхождения. Но моя любовь не пришла ко мне, как

прозрение к слепцу, ни как реликвия и истому богомольцу – моя любовь жила во мне, и первый её взгляд вовне пал на тебя.

К чему мы идём? Это тайна, сказала бы Настя мартовская. К познанию самих себя, вторила бы ей апрельская Настя. К знающей неизвестности, застращала бы августовская беглянка. К нашей жизни, сорвалось с уст сентябрьской провидицы. К нашему счастью, шепчет, уверяет мне моя Настя, моя единственная Настя, та, что я люблю, та, что ждёт меня в эту минуту, в которую я жду её.

Я черчу эти меланхолические строчки только для того, чтобы ты не забыла моего голоса. Молись за нас, любовь, в вечера безграничной тишины, когда отворачиваются от нас люди, припадая к своим земным кормушкам, а небо особенно внимательно к тем, кому оно нужно. Пусть мысли наши больше не погрязают в узости дней ожидания, пусть они вырвутся к простору жизни. И скоро-скоро мы будем самыми нежными на свете любовниками, и наши губы найдут самые вещице слова.

Вот рука моя, иссохшая, как и горло. И ты со мной – пустоте, что меня заточает, это невдомёк.

LXI. Январь

И снова один, в этом осиротелом городе, в этой обесцвеченной жизни без движения, без радости. И любовь, испраздничавшийся изведёныш, недавний привратник всего светлого, снимает охрану с отпадающего, помрачающего счастья. Как оно было кратко, господи, - и теперь ему, огнищанину, идти в холод людей, чтобы выклянчивать наше право на будущее.

Жду тебя, любимая. Два последних часа прошлого года приоткрыли на миг тайну, которая единит нас с необманувшегося 1-го апреля. Вижу тебя в этом длинном платье, я у ног твоих, и веянием ещё не узнанного волнения свежит лицо, жаркие стоны и жаркие мятежи. Пусть эти декабрьские слёзы станут последними из тех, что у нас вырывают люди, торжествующие над нашей растерянностью, нашей земной беспомощностью. Полюби-ка нас вчерне, а вкрасне нас всяк полюбит.

О, снова закрывать глаза и так, да, да вот так искать друг друга ! Ну же, улыбнись, Настенька, вот увидишь, у тебя это получится – улыбнись, скажи, что сердца всё ещё вместе. Будем думать о них, зовя на помощь увиливающее терпение, которое у нас теперь тоже, увы, отдельно. Ещё лишь месяц, моя нежная Настя, и нас обескручинит, обнадёжит, облюбит. Будущее вдруг протянет нам гостеприимные руки, и мы войдём в него, смущённые и чуть-чуть недоверчивые. Будем же сумеречничать, спровадим подальше навязчивые лже-ответы, доконаем дыблящиеся лже-вопросы.

Но ты чувствуешь, как и сам я, что эти речи – пряча глаза и у тебя на шее повисая – я струю как разуверенный, окольный бред. Уж не докопаться до одного из тех волшебных взглядов, которые

зачаровывали новогоднюю ночь и так хорошо передавали нашу нежность и бедную нашу надежду. Всё погребено за створками аэропортов, за многопудовой бумажной непроходимостью.

Я поднимаю, наконец, голову, налитую солью и злостью, ловлю-таки в воздухе твой взгляд – вот оно, счастье, утолявшее меня несколько часов назад. И снова выпрашивать, чтобы мне дали сложить голову на твоих коленях, чтобы её погладили твои руки, чтобы они уравнили мою грудь, заставили бы говорить наше молчание, остановили бы холостой ход времени. В глазах снова Нева, наш мостик, ямочка на твоём плече, в которую легли мои первые вздохи и первые поцелуи.

Чиновничьи подвохи и травли, на этот раз, превзошли все меры, как они над нами поналомались ! Но скажи, моя малышка, не правда ли, они не раздавили нас ! Нам удалось и Большой, и совсем поразбойничьи замышлённая *Адриатика*, и это краткое, о как унизительно краткое одиночество в последнюю ночь. И мы шептали *Мы были счастливы этими минутами*. Сполна же мы узнаём цену своего счастья ! Мы снуждались с ним, и его предвозвещения всё неуклонней. И мы добьёмся его, моя хорошая, мы добьёмся !

Прячу лицо где-нибудь среди твоих рук и плеч, зову тебя и пропадаю. Приди же, я так люблю тебя...

LXII. Январь

Я не застал тебя вчера, не дозвонился, не пробился. Господи, пусть это будут забастовки, экзамены, капризы подслушников – а только бы ты была здорова, моя маленькая ! Почему я, растяпа, в тот вьюжный день, растерял все стороны света и заставил нас блуждать по совсем дремучему, заснеженному лесу, без единой живой души вокруг. Мы покружили до ночи и тем, наверное, ещё более раззудили наших надсмотрщиков. О, заглянуть в твою спальню, склонится над тобой и вобрат всё, что может причинять боль.

Меньше строй, да больше крой ! Чтобы строить, чтобы поставить даже лачугу, приходится топтаться в замызганных канавах и котлованах – о как же я в них неуклюж, как сочувствую я нашей башне из слоновой кости ! Да не достойнее ли нас – кинуться с её стен, чем медленно погрязать в основаниях толп, свор, галдежей.

Мир – это авгиевы конюшни, и чем задиристей взмах лопаты или метлы, тем больше взбучивается мерзкой грязи.

А я всё обиваю пороги бюрократов, издательств, французских кафедр и дворцов бракосочетаний. Но я всё охочусь, всё выслеживаю нашу удачу. В этой неразберихе, в этой неправой стране-неряхе никогда не знаешь с какой стороны ждать эту удачу. И похоже, что мне можно и не уедаться тем, что я какой-то особенный размазня, мямля и губошлёп, - чиновничье чудище изведёт своими канителями всякого, не столкнувшегося с их шашней.

И ведь это же я сам изрекал когда-то, ничтоже сумнящся : Во вскружённой голове романтика нахрапистая ложь не развеивает маревых настроений и лишь сгущает презрение, тогда как мирно торжествующая, неподложная прозрачность выветривает всякий хмель и обволакивает серостью все пёстрые причуды воображения. Высокие

порывы вживаются естественней и уместней в хитроумь прикрытой лжи, чем в прямоту голейших истин. Всякий идеализм – это уход от ходячей правды жизни, и таким образом, и он – одна из разновидностей лжи. Сейчас, кажется, я бы отдал всё накопленное среди лжи *благородство* за глоток свободы в мелком, но на правде настоявшемся *благородстве*. Сдержим вздохи, подавим их, чтобы однажды из них взорвалась наша радость. Слезы – не очень-то эффективное орошение для цветка жизни, вращённого тобой однажды, в сентябре. Капли на утруженном лбу пришлось бы гораздо более кстати.

Невозможно стать бесчувственными, но уснём и будем ждать от этих слишком реальных и слишком пустых месяцев только того, чего мы ждём от сна : не быть разбуженными в ночи. Я знаю, что ты рядом, совсем рядом с моими снами, но я не трогаюсь с места, боясь их разбудоражить. Твоя теплота помогает мне плавить железо терпения, а вера моя – такой замечательный молотобоец.

О нежная любовь моя, чудесный февраль от нас не убежит.

Он принесёт нам, наконец, этой неуловимой лёгкости, этого невозможного покоя, чтобы рассеять по белу свету всю декабрьскую тяготу и горечь.

Я слежу за своим сердцем : оно свыкается с полярными широтами, я гоню прочь все тропические перенакалы. Я стал первоклассным специалистом ожиданий. Лекции были головоломными, зачёты скосительными, экзамены висельными...

Снова я на этой страничке, но на этот раз – ошалевший от радости – я только что слышал тебя – хвала, хвала министерствам связи и общественного порядка, вдруг позабывшим о бдительности ! Я, право, готов вкучиться среди их насиженных идолищ, только бы по адресу их косяка доходила до меня твоя перелётная весточка ! Скорей, скорей,

руки, нежная моя любовь, руки, глаза, лоб – благодарю тебя за то, что живёшь, говоришь этим волшебным голосом, за то, что ты - женщина, эта самая женщина, что... - ты помнишь ? Я слышу, как твоё сердце бьётся на моей груди – да будет лёгкой эта ночь, да навестят нас те же самые сны, не растеребляя, не ожесточая сомнениями.

Она всё ещё наша, эта любовь, светлая и ясная, как бы ни донимала нас эта вздорная, одуряющая жизнь. Бродильное начало умолкает, и заговаривает отходчивое сердце. Время кричмя кричать, время и лежмя лежать.

LXIII. Январь

Один январь, один месяц, какая безделица перед вечностью, в которую мы вписаны. Но право же грустно, грустно. Легко было говорить : забудься, усни, окаменей – как жить, не зная часа прихода в себя, пробуждения. Как ободрять тебя, милая Настенька, не этими же вот слезами, хотя и впитавшими новую нежность, хотя и преломляющие неизменившуюся веру.

Мы ждём друг друга в уже столько ледниковых эр, в ночах без сновидений, без забытья. Почему же отчаиваться сейчас, под светом дождавшейся любви ? Жди меня, зови меня, поглядывай изредка в мою сторону. Я иду к тебе, я не теряю тебя из виду, я несу в себе послание из будущего, из-за световых годов, из-за происхождений жизни. Мы всё более научаемся верить в нечто, по ту сторону нашего существа, хоть мы и бессильны перед вторжениями дальнего, наносного и порожного.

Измученный и словно лубяной, я в эти месяцы, - лишь косноязычная игра когда-то такой красноречивой чуткости. Где же, где же, наше общническое молчание, где проникновенный час, в который говорили наши вздохи, наш смех... О маленькая Настенька, о трудное счастье моё, увидь знаки моих рук, не слушай эти саднящие бормотания, не замечай эту уличительную дрожь. Твоя нежность их приструнит, твоя нежность ворожейна и средостенна. Здесь, в твоих волосах, в мягкости твоего взгляда, я ещё могу дышать. Ничего не говори, я стану рассказывать тебе историю влюблённых, соединившихся после долгого-долгого ожидания. Настенька, Настенька, это имя заполняет всё живое...

Глухой и злобствующий мир отворачивается от этой музыки. Что ж, я сохраню её в себе. Мы будем вместе ! Вместо того, чтобы

пересчитывать месяцы и километры, замкнёмся с нашей крамольной любовью. Сердцебиения заменят нам время и обозначат отведённые нам атомы пространства, только для нас. Спрячем же чересчур раздражимые глаза и обернём миру безискусно молящие ладони.

Я переживаю вновь наш слёзный вечер, последний и единственный вечер (кроме лесного, буранного), когда мы, наконец, смогли остаться одни. Как наши глаза искали друг друга, как они принадлежали друг другу ! В твоих ласках, в твоей красоте только и жили тогда глаза мои, а ты была больна, жизнь моя, и ты любила меня и была такой нежной. В последний и последний раз я проникался твоими жестами, улыбками, я обнимал твои колени и шептал последние слова.

Ты во всём, что я делаю, думаю или мечтаю. Ты среди потерянных созвездий, когда я у них спрашиваю совета ; ты вырастаешь на этой странице, которая хочет нести тебе мою любовь – я стал тенью твоей, о светлая моя звёздочка. Ты достигла всех пределов моей жизни, до самых последних минут, до этого мгновения, когда я преклоняюсь, смиренно и самозабвенно, как молчание, перед твоим образом.

Как легко, первовечно, верилось в любовь прежде. Но теперь, со всеми ересями и суевериями счастья, распространившимися после апреля, - как вернуться к простоте и чистоте первоисточника ! Но пустота ещё, слава богу, слишком далека, а 31-е декабря слишком близко.

Этот злосчастный декабрь открыл тебе, что у моего я нет корней вне любви, и мир ровным счётом ничего не потеряет, если ты угасишь меня или усечёшь, если ты образумишься. Да не последний ли я самолюб, когда зову к себе всё твоё существо, и тепло зарок соединить нас однажды навсегда. Но снова и снова, ещё и ещё, я вторю, навзрыд или пошепту : никогда, никогда я не замирюсь с судьбой, в которой тебя не будет рядом. Я буду ждать тебя, даже если

ты больше не будешь слышать меня. Наша встреча, наш союз, состоятся так или иначе, даже если отчёт в этом буду отдавать себе только я один.

Оставь меня, забудь меня – твой образ будет чаровать меня с той же сладостью. Я благословлю тебя, вспоминая о нашем Новогодии. Столько счастья я уже испытал – и боже, боже мой – чем же я стану без тебя ! Немым, сияющим петь и счастливо смеяться ; нищим с протянутым сердцем, в стране любви, и получающим лишь камни ; глазами, впивающимися в смертную бледность, разлившуюся повсюду, и шарящими по всем горизонтам и за всеми горизонтами находящими пустоту. Но зато я избавился бы от этой ноющей боли, от этого щемления.

Мне ещё есть куда девать эти бесполезные глаза, глаза, не находящие тебя более. Я ещё надеюсь увидеть улыбку на твоих губах, когда ты вслушиваешься в это излишнее бормотание *Люблю тебя...* Но завтра ?

Если завтра все мои воздушные замки рухнут, среди развалин не найдётся ни одной чугунно-земной опоры. И я позову декабрьскую Настеньку, ту, что была счастлива на замёрзших и постылых ласковых улицах, - мы снова обратимся в бродяг, и, венчиком над нами, встанет невесомая наша любовь.

Нет же, нет, ты любишь меня, в эту самую минуту я слышу это. Иначе откуда взялись бы эти силы и откуда донеслись бы отклики на уколы в области сердца.

Кому, чему доверить эту боль и это одиночество – слова, слова, что за невзрачность, что за насмешка...

LXIV. Январь

Эти стенные часы уже намолённой всякой иконы, через несколько минут я должен услышать тебя. Не могут же они ещё раз запретить твоему голосу придти и развеять этот жуткий вихрь в голове. Заговорить о выкрадывании одиночества, о поползновении к счастью. Они боятся оставить нас одних, мы опаснее детей, возящихся с огнём, ведь в нас пылает этот торжественный костёр. Но что толку твердить, что мы сжигаем лишь самих себя, вдали их скоропалительных требищ.

Стрелка приближается к отметке, в сердце сплошное мотованье ; спокойней, спокойней, бедный мой голос, - тебе предстоит вместить столько весомости и необъятности в положенные тебе три минуты. И сердцу тоскливо, тревожно, мучительно, и губам всё нескладно, несподручно – я иду...

Жив, жив, я – жив ! Малышка моя, моя крошечная, пушистая прилука, счастье моё огромное, возлюбленная ты моя – о, вызвезженное небо чествует меня фейерверками, и умащённая земля уходит из-под разошедшихся шажистых ног. Все лица вокруг дружелюбны, вечерние огни подмигивают сочувственно и понимающе, трамваи поют о чудесах и стыдесах моего выхандривания – в этот миг я люблю всех чиновников дворца бракосочетания, всех гидов Интуриста и ядрёных гостиничных дежурных.

Не брани меня за недавнее увыканье – нет, ты не уходила, ты помнила о нас - в эту минуту моя радость принимает тебя и ласкает. Жизнь снова кряжится и замахивается до горизонтов, угаданных твоей любовью. О, руки, руки твои – идите сюда, мои чародейки, я тяну им щёки, губы, шею, - спасибо, родные ! Целую твои смеющиеся глаза, околдован твоей верой, - возьми меня, возьми моё безумие, отраду,

жизнь ! Наконец-то, новый год тронулся с места – и что за сногшибательный старт !

Сколько аромата, музыки, свежести ворвалось в будущее ! Голова заходится от счастья, так мне кричится и так шепчется *люблю* ! Всю жизнь я носил в себе это признание, и вот отныне оно принадлежит не только мне, ты захотела поделить его со мной да ещё и добавила своё признание – о чистая радость моя, о дорогая моя возлюбленная !

И сызнова на дворе новопритчѐнное 14-е апреля. Я открываю, словно в первый раз, что любовь моя небезответна, и какое до неё докатилось вторье ! Я весь в нём, без укоснения, без оглядки, вкупе и влюбѐ, ничего я не хочу приберечь для химеры, которой стала бы жизнь без тебя или твоей близости.

И сам себе я кажусь не таким уж и бескрасочным, ты так меня захвалила, право. Я знаю, впрочем, что не по хорошему люб, а по любви хорош. Все болезни неверия ты воспользовала в одночасье, моя ворожейная, моя поможливая.

Не взяв даром приспособничества, ни угодив ни в выкормыши, ни в попутчики, ни в прихвостые дарящих славу токовищ, я бы и не прочь удержаться в заоблачном кругу, в центре которого поманивает своим притяжением сердце. И пусть от этих сердцеобращений голова тоже идёт кругом, и губы тоже. Уж лучше быть копителем небес, чем вовсе с ними не знаться !

Что проку в крыше, если нам хочется подставить головы ливням будущего ! Бездомный, я узнаю, в этот миг роскошество звѐзд, ощущаю безмерность иной вселенной и воображаю недавнее Солнце. Люблю, люблю тебя самой далѐкой от Земли невозможностью, самой близкой небу, люблю тебя всем будущим, всякой возможностью счастья !

Пусть философы взвешивают прошлое, пусть поэты окрыляют будущее, забота влюблённых – опьяняться настоящим с глубиной философов, с чуткостью поэтов.

Уметь быть счастливым – непростая наука, сродни чуду. После каждой Голгофы счастья надо уметь восставать, воскресать. Трагедия (впрочем, изрядно прозаическая) в том, что мы хотим порой устроиться с удобствами и покоем даже на горней высоте, где нужно бы, изойдя потом и кровью, принять распятие, чтобы тем самым возгласить рождение новой жизни.

Откуда всё-таки взялось это волнение? Ведь, спору нет, ты не сказала ничего, чтобы уже не было сказано раньше. Бездарной логике неведомо, что в наших краях нет вторенья и переёма, и каждой радости дано своезрачие.

LXV. Январь

Через несколько минут почта откроется, и я узнаю, придётся мне сегодня скрещивать дубины с грустняком или же сдаться на милость нашей общей водительнице-радости. Но хотя внешность и так изменчива, внутри гаерствует самое воинственное постоянство, вырастающее в два громадных слова под стенами терпения : *люблю тебя* ! Они готовы к осаде всяким захватническим случаем, всякой крестоносной немилостью.

Пусть сердца останутся в стороне от ратоборств ; нашей вечности не сквитаться с нам чуждым временем. Доверим-ка лучше им обстановку нашей башни из слоновой кости для её будущего жильца, жизни. Её осаждает такая ничтожная рать, какие-то недели. Да поредеют их ряды под ударами нашей спешащей надежды. Сбережём стрелы гнева и закипающие котлы ненависти – спокойствия, спокойствия – и счастливые вылазки подвернутся сами собой.

Но не нужно застывать на берегах времени и следить, как оно расточает наше счастье. Нужно пасть в его течение и уноситься к устью нашей любви, а уж там напроятся и маршруты по океану времени нового. Порой зловонная трясина засасывает наши отдельные дни, и чтобы удержаться над ней, есть лишь одно средство – ковчег нашего пресловутого стоицизма.

Слова, слова, слова – лучше чем кто-либо мы узнаем их мелочность и величавость, их расплывчатость и кристальность, их бесполезность и незаменимость. Это искры, заносимые от нашего несказимого огня, чтобы их теплом, чудом и блеском облекалась на несколько дней наша бедная, гнаная жизнь. Что-то мы переживём, перечитывая их однажды ? Найдёт ли на нас та же самая волна нежности и благодарности ? Всё это будет так незначительно, когда в

любимых глазах смогут читаться все перипетии последних веков нашей любви. Всё прочее – литература. Обратись даже в пепел, эти искры займутся новым светом от соприкосновения с ярким настоящим.

Всякое прошлое высветится новыми красками для того, кому дано воображение – достаточно захотеть быть счастливым и писать свою биографию по лиху мечтаний, а не по камению гонок со временем. Биографы выводят настоящее из прошлого ; мы сделаем обратное. В свободе настоящего мы изобретём заново наше прошлое. И будущее нас будет занимать лишь постольку, поскольку оно не обеднит настоящего.

Сердце тянется в завтра, разум беспрестанно обращается к прошлому, но повсюду, до всякого рождения и за всякую смерть, нужно обрамлять эти перспективы днём, который мы прожили вместе. Я сказал слово *вместе*, и тотчас мне охота подключить к нему самые активные, бес-страдательные, самые переходные и многократные глаголы, чтобы ты увидела, как ему принадлежит моё существо, верно ему и в нём черпает жизнь – я люблю тебя, Настя, - я знаю, что ты не принимаешь всерьёз эти празднословия – оборотни, моё лопотное тщемудрие бормочется с закрытыми глазами и среди мыслей, далёких чернил и бумаг. Я люблю тебя, тебя, которая забилась вот сюда, в мои объятия, в мой шёпот и вслушивается в моё молчание.

Сердце неустанно бодрствует, хотя всё, что оно различает под твоим светом – чистейший сон. Это ты говоришь мне *Обними меня*, это руки твои сжимают мои плечи, это тело твоё развязывает вновь порождающийся бред – Настенька, Настенька, на помощь, что-то надламывается во мне – не оставляй меня одного, если любишь, не оставляй.

Но час пробил, и я остался с пустыми руками. Придётся угадывать твои взгляды, если не удалось угадать твои слова. Мы всё ещё в этом

чудесном новогоднем вечере, наконец-то наедине, залитые счастьем, немногословным и робким, вдали от всего, и руки наши то теряют, то снова находят друг друга.

Сколько же мы нажили этого разнесчастливого, безотсидного ожидания, его хватило бы на множество длиннющих смертей. Несложно перегореть в одной единственной, но нужно сберечь себя для жизни, как бы коротка она ни была, для жизни, которая потребует так много от сердца. Я погасил глаза, моя единственная, я склонил голову и приоткрыл сердце – я жду тебя, непроницаемо, непреклонно. Ты придёшь, и я стану самим собой и изольюсь в тебя, вместо того чтобы преграждать своё собственное дыхание.

А я всё воюю, всё рыпаюсь и тягаюсь. А то и по-рабы распластываюсь, но в стране, где свободу блюдут с такой бдительностью, это не проходит и не пробуждает ни удивления, ни заинтересованности. Меня распинают и катают вдоль и поперёк на грязных чиновничьих помостах, но заветной *характеристики* не дают и до Москвы тебя не допускают, вот так. Сплошные насупленные брови, сплошной прижмур, сплошные заплечные оттаски, лясы, турусы.

С другой стороны, каким-то чудом, мне подвернулось завалящее укрявище. Ввиду совершенно безбожной цены, загнутой проходимцами, я пробавляюсь переводами и, хоть и с грехом пополам, но, видно, скропаю нужный залог. Перевожу, большей частью, стихи, но не брезгаю и мудрёными трудами о счетоводстве, горнолыжной технике, фортепьянных конструкциях, особенностях дифференцируемых отображений – ты застанешь во мне энциклопедиста, залихватски толкующего о разнице между учётными ставками и займовыми барышами, между социальным прогрессом и человеческим маразмом. Я становлюсь опасным собеседником для грузчиков и аферистов, алгебраических геометров и дзюдоистов. Жду

переводов о наиболее прогрессивных (по Семашко) способах колки дров, знаний по этой части мне страсть как не хватает...

Итак, 3-го (января) февраля, любовь моя ! (Как разобраться в этих завалающих месячниках, когда века запросто изъясняются с глазами-долгожителями, оздоровлёнными счастьем !). Я расслышал лишь две фразы, но и за этот глоток воздуха спасибо великодушным телефонным палачам. Они-то не догадываются, что из него вырастет целая атмосфера, которая оживит целую вселенную, нашу вселенную, о милая, хорошая моя Настенька, такая долгожданная, такая обожаемая, о единственная моя, первая моя, бесподобная, большая любовь моя.

Бывают удивительно высокие часы, в которые можно оглядеть все вершины жизни, как в прошлом, так и в будущем – вот один из них, и я вижу, что все круги и крутизны ведут к тебе, и все потоки впадают в твой океан, и никаким ущельям не обузять моей любви.

О эти словесные недостатки и дефициты стиля, я ломлюсь во все очереди, но не нахожу ни того дыхания, ни той непосредственности, ни того ясномудрия, которых ищет моя радость, чтобы излиться в тебя. Это внешнее, а внутри – ты, только ты, безраздельно, беспрестанно, неизъяснимо, неразгаданно – красивая, самая красивая.

Родная, хорошая, славная, дивная, ясная, мягкая, светлая, пушистая, лучистая, близкая, тёплая, зыбкая, тайная, чуткая, нежная, глубоководная, мягкорукая, многогласковая, сердцеобильная, страстноречивая, добромисливая, щедроносная – люблю тебя !

LXVI. Февраль

Я проснулся, я здесь, близ тебя, я не пропустил нашего свидания, в глазах твоя улыбка, по телу ещё пробегают твои ласки, в памяти волнуются твои нащёптывания, они говорят о счастье. Воздух пропитан твоим присутствием, сердце укрывает нашу любовь, гонимую людьми. Настенька моя, люблю тебя !

Пятая встреча. Ещё пять дней счастья. Минуту за минутой, шаг за шагом, я восстанавливаю наше свидание, переживаю наши неразлучные радости. Ах, как нам было хорошо в нашем одиночестве ! Как ты любила меня в феврале, о Настенька, Настенька – что они могут изменить, эти крики...

Эти презренные, человекоподобные твари, по какому-то дьявольскому недосмотру так схожих вместе с нами, эти пустосердые услужники, взъевшиеся на наше внутреннее чудо и злорадно высматривающие признаки нашей растерянности. Жалость, моя хорошая, да нет же, нам больше её не ждать. Всё решит выносливость, способность твёрдо вперяться в кричащую пустоту наших отдельных дней. Не истощиться вконец – это теперь главное.

Слезой больше сегодня – одной нежностью меньше в будущем. Не забывай, что всякий миг безверия и убитости отнимет у будущего месяц лёгкости. Скроемся за нашей чистотой – терпения, родная, любимая, пылкая моя девочка, терпения, выдержки. Отдадимся однообразному истечению времени. Не забывай, что на весах жизненного равновесия оно положено на чашу надежды, а на другую наваливаются неуверенности, сдачи. Не забывай, что речь идёт о весах жизни.

Да не затянет и тебя, моя пустынная, зыбучесть тупиков и обессиленных рук. Чем глубже наш сон, тем быстрее взойдёт наше

солнце и тем пренебрежимее, перемочнее покажется ночь... Я прячу в себе всё, что отзывается на имя любви, в местах, не доступных земному, изъясняющему, ущербному. Я счастлив ! И сколько колебаний, непокоев, надломов погребено под этим криком ! Это торжество того, кто не разучился ждать. И ждал, как ждут лишь последние романтики – я счастлив ! И паломничество совершено, и обеты услышаны.

Здесь, в этом кресле, ты сидела вчера, в трудный прощальный вечер, красивая, незабываемая. Свеча отсвечивалась в твоих глазах, в них и ненарядное счастье моё читалось и разузорочное несчастье. Я не смог упиться этой болью, ни вынести это упоение.

И как и тогда, всякое благочинное сопротивление напрасно, и крупные, беззастенчивые слёзы зажигаются в глазах, но не пепелят, а лишь очищают, лишь ещё выше возносят крики, жалкие, жалобные крики. О, я люблю тебя, превыше и вопреки всем рыданиям, безнадежностям и пустотам. В этом сжавшемся горле, по-прежнему, легко и нежно складывается твоё имя. Боль не ослепляет меня.

Я вижу тебя по ту сторону барьеров, в аэропорту, всю съёжившуюся от нескончаемого ожидания последнего взгляда. Я вижу, как ты бросаешься в мою сторону, перед свирепыми глазами таможенников, бросаешься, чтобы унести последний поцелуй – и я не могу больше, я должен снова где-то выуживать волю-утопленницу и спасать, спасать немедля затопленные глаза и удержать наплаву сокрушённые руки.

Настя, Настя, вернись, любовь моя, ты только посмотри на твоего пропащего, ошалелого от горя скифа. Скажи ему, схороном, что ты здесь, мимоездом, что ты умеешь улыбаться и трогать – и вот я и счастлив, готов вопить об этом или хрипеть, ведь о счастье говорить умеют и стоны.

Только что отзвучал твой голос. Снова 4000 километров. Далась мне эта жизнь – надо бы умереть от этой неуёмной, неизбежной боли, надо бы возродиться под твоими руками.

Настенька, целую тебя, сжимаю, как вчера утром, на рассвете, как бы не артачились каверзные слёзы. Только уж пусть слёзы, вторгшиеся накануне, забудут к нам пути.

LXVII. Февраль

Придите ко мне, воспоминания, и ты, ключница-надежда. Не оставляйте меня одного, выпрямите срывающиеся мысли, образуйте жесты, умерьте жгучий, изъеденный зной в горле. Я жить хочу !

Почему этот сон ? Мне, едва начавшему различать в себе день, мне, столько прободрствовавшему в слезении за призраком моей любви. Ведь теперь я ношу самую осязаемую, самую живую любовь на свете, я тою любим, что ждала меня, - и где же ты, моя жизнь ? Где-то там, за мартовским прояснением ? За какой ещё весной ? Она уже бьётся вот в этих рыданиях, а увещательные затишья слиняли со всех календарей

Всё идёт хинью, кажищу. Рассудочность поваживается в грудь и учиняет самый разнузданный правёж всякому звездарству. Люди, люди, наши искры безопасны для вашей ночи. На отшибе вашего хладобытия дайте нам обогреться около них. Мы нашли их в себе и не станем шалить или подле ваших огнеопасных нужд и забот.

Опять твердить : быть вместе, быть вместе. И опять напоминать, что эта казнящаяся жизнь оправдана уже одним показанием твоего сердца, одной вещественностью твоих ласк. Но, не обессудь, со стороны, мои дни – отпечаток августа. И скудной этой камерке, пережившей потрясения нашим счастьем, наверное стыдно за мою слабость. Не нужно бы мне так часто видеть её, здесь я задыхаюсь, здесь я умираю. Я бьюсь головой о невозмутимые стены, прошу их одеревенить всякую чувствительность, оглушить или остудить распалённое воображение. Но воспоминания, вторенья и отзвуки неотвязчивы. Я соскальзываю на пол, зверею, пресмыкаюсь, хриплю твоё имя, пытаюсь вырвать из памяти твоё лицо – а ты улыбочива, ты всегда улыбаешься. Я собираю кое-какие из ещё не растёкшихся сил, я

заставляю замереть всё, что может взлетать или вздрагивать. Всему, что собирается говорить тебе о любви, я назначаю свидание в сердце.

Жизнь прекрасна, потому что жизнь – это ты. Благословен всякий миг, что нас соединяет: во плоти ли, в мысли или в слезе. Благословенны друзья, верящие в нас, и палачи, благодаря которым мы оценили силу надежды и самообольщения. Благословен наш первый взгляд и наше первое рукопожатие, в первом, провидческом сентябре. Благословенно небо, видевшее нас в тот час. Благословенна глубина твоих глаз, которой я коснулся 9-го июля. Ты помнишь ли ещё – я держал тебя в объятиях и искал твоих взглядов.

Но не горе, не слёзы, всё осветили мне. Нет, всем я обязан нашему покою, глубокому, проникновенному, восхитительному, задушевному. О, держаться за руки и читать своё блаженство в близких глазах. О, не растерять этой жажды друг друга, жажды, которой мы жили в феврале.

Всюду, где я пытаюсь жить, наши шаги неразлучны.

Наши руки сплетаются всякий раз, как я негаданно нападаю на какую-то малость из рассеявшегося по миру мужества. Это знают бесчисленные московские улочки, в которых разряжаются мои лёгкие. Это знают и вот эти стены, они слышали всё, всё, - я люблю тебя !

А вот и твоя открытка – я дышу и почти улыбаюсь – ты пришла помочь мне, спасибо, спасибо...

LXVIII. Февраль

Какой подарок, сегодня вечером ! Твой голос, и нежный и близкий. Словно ты погладила меня, неслуха по взъерошенной голове. Я ещё чувствую, как рука и улыбка твоя пробегают по моему лицу, задерживаются у губ и на них замирают.

С недавнего времени я утоплю в крови все слезливые мятежи, подавляю все чересчур оживлённые переходы, пересуды, упрекания, готовые поживиться моей твёрдостью. Так нужно. Я узнал чего стоит попуск сердцу и теперь приструнил его. Как можно на него полагаться, когда оно так своевольно и дико рвётся к тебе, без тебя встревоживается, изжуживается, распускается. Опять я в должности палача : накладываю ему на уста печать или, вернее, усмиряю напускной глухотой к его челобитным, слёзным жалобам. Но в наших келейных свиданиях мы друг с другом ладим вполне.

Изучение моей блистательной *характеристики* вновь перенесено, до начала марта. Всешутейший ареопаг, а вернее, многорылая неучь, дивится неумеренности моих поползновений – зазвать политически неграмотную чужестранку в нашу идейную выдержанную среду. Не ровен час, зараза перебросится в ряды, славящиеся несокрушимым единомыслием. Когда-то у царей были шуты, а теперь шуты ходят в царях.

Другой повод для их лицеприязни – неусердия при отдании им обрядных, холуйских почестей. Нужно посконное, деревянноязычное раболепие, никакими тут *Дражайшие и паче живота телесного дражайшие* не отделаешься. Ах, отчего же я не наподвизался, в своё время, на поприще стенной печати, отчего не затвердил кумачовых лозунгов ! Ах, если бы всё это было лишь дурью и нелепицей ! Кого мы увластили, кого вытерпели ! Бедная Русь, какой порчей проняло

тебя это столетие ! Что за нечисть, что за приматы уходили тебя, светлую, здоровую !

Да так ещё вморозили в рабство, что тронувшаяся было, 20 лет назад, оттепель вылилась в разлагание, а не в оживание.

Да, как я уже говорил тебе, мелочная правда постылит само дыхание, но не подменяет наших лёгких. Громогласая же ложь душит и пристраивает нам грубые жабры, чтобы мы приноровились к её болоту.

Видеть, как нашего будущего касаются и его взвешивают эти гнусные, хамские, невежественные руки – боже, боже мой, моя великая и такая кичливая страна как будто побаивается нашего счастья. И величие в ней, как и всё остальное, в безнадежном дефиците.

Но чем грязнее жизнь дня, тем отвлечённой и, значит чище и предвечнее прорастающие в ней помыслы. Чем нетерпимей гнёт, тем безыскуснее светлая воля. Чем наглее ложь, тем чистосердечнее служение истине. Когда же доступны соки жизни, то не воспрянешь потом, не оживишься чернилами, не изойдёшь слезой. Разве что от обуревающей скуки вокруг опьянишься кровью, чужой.

У нас, прямой и доходней почитается развесёлое шлёпанье по пути с вкруте и впусе указанным назначением, чем несмешливое кружение в узких извилах своего я, или чем ротозейная дрёма на безвидной стезе истины, не размеченной уставами и директивами.

Надо бы не захватываться бесчувственностью людей. Остаться наедине с незабывчивым я, обратить всё внимание на жизнь своего чувства и кое-каких, не слишком артачливых мыслей. Ты живёшь вот в этой душе, в этих замечтавшихся глазах, у этих приоткрытых губ и вот здесь, на этих безостановочных страницах. Ни новые удачи, ни новые

срывы не оторвут меня от тебя. Ни время, ни привычка, ни скудожитиё. То, что любит тебя, никогда не люблю.

Тысячу раз мы чертили в воздухе наивно прямой маршрут к нашему соединению. Спустившись на землю, мы неспособны сделать и одного шага, преодолеть хотя бы одно бумажное препятствие перед загсом, рабочим местом или правом на месячные встречи вне туристских групп. *Наше несчастье* - слишком высокие сердца, не умеющие вращаться в унылейших плоскостях жизни *общества*. Но радость наша ждёт нас и растёт с каждым новым откровением, как росла прежде с каждой новой загадкой. Загадав, не отгадывай, сказала ты мне.

Пусть вдруг ты почувствуешь, как мои руки ложатся на твои, пусть моя улыбка осветит тебе лицо и согреет сердце. Всю свою жажду любви, прекрасной любви, шлю тебе.

LXIX. Февраль

Час от часу не легче : как бы решительно я ни пытался обуднить, орационализироваться, оподлиться и, тем самым, отодвинуть от себя твой образ, мне не удаётся заслонить его и прожить без тебя хотя бы минуту, без тебя, обожаемой, желанной, любимой. Притёртый к стене, я тогда ищу в тебе что-нибудь бесстрастное, жёсткое, деловитое, чтобы заговорить боль логикой и необходимостью – но ты появляешься всегда в ореоле нашего счастья, ты так далека от земного. Невозможно оскорбить тебя, спасая дни с помощью твоего немеркнувшего во времени образа.

Ты создана для того, что не знает ни объяснений, ни приложений, как и само наше счастье. Ты оживила во мне вкус к бесконечному, и поэтому даже вот эта боль лучше говорит о наших отрадах, чем какая бы то ни было плоская и тепловатая удовлетворённость. Только почему, почему эта боль не изберёт иной мишени ! Сердцу бы нужен отдых. Понурая свечка глубок корень роет.

Я снова прибегаю ко всяческим уловкам, чтобы усыпить жизнь и поставить на её место какое-нибудь машинальное и поглощающее занятие. Этого бы талантишка да на месяц другой. А то ведь пока солнышко взойдёт, роса глаза выест.

Видишь, я стал замахиваться и на то, что мне дороже всего на свете. Чем серьёзнее вещь, тем уместнее над ней подтрунивать и вдаваться, по её поводу, в умышленные противоречия. Смеяться над высоким – полезная профилактика : смотреть потом, а что же останется после окатывания смехом ?

Те, что поносили общечеловеческое убожество, лучше всех отстаивали человеческое достоинство. Те, что насмехались над именами бесчинной черни, острее всех переживали её кромешное

чернобыльё. Не признававшие любви к толпе влюблялись в подчас самое плебейское существо. Тех, кого коробило лёгкое словоблудие о потусторонних мирах, находили самую большую возвышенность – в траве под ногами. И не те ли философы ценнее всех, что смели потешаться над философией.

То, по чему распознаётся лицо человека, – это количество и качество *доброто* и *доброносного*, которые он различает в нравственно значимых поступках. По этой способности людей можно разбить на плебеев, формалистов и художников.

Первые принимают жизнь, не трансформируя её своей ничтожной внутренней природой. Вторые умеют на всё навесить заранее заготовленный ярлык – они формализуют. Третьи плохо объясняют и толкуют действительность новую, только для них самих, непредсказуемую, непредвиденную, бескрайнюю, не полную, но прекрасную.

Первые привязаны к пространству, к тому, что есть общего для многих поколений. Это делает из них воплощение рода человеческого.

Вторыми движет время, то что необратимо и условно, они – дела или достижения людей.

Третьи свободны, они – душа или мечта человека.

Первые живут, потому что не умеют делать ничего другого. Вторые занимаются многим из того, что лежит вне Жизни, потому что они уже достаточно пожилы. Третьи хотят вдохнуть жизнь во всё, что их трогает.

Первые боятся жизни. Вторые как будто пресыщены ею. У третьих по ней – всегда жажда.

Художник (то есть : чуткость плюс воображение плюс ирония) творит истины. Учёный ищет истин готовых. Чернь же принимает их в меру потребности.

Художественная истина доступна лишь глазам, впервые открывшимся ; она зависит лишь от экрана, на котором она высвечивается. Чтобы постичь истину учёную, нужно исследовать множество смежных, подручных, подсвечивающих истин. В плебейских истинах нет нужды ни в зрении, ни в свете.

По-видимому, у разума, как и у чувства, может быть три лица : чисточеловеческое, утилитарное и художественное. Античность – это радость художественного чувства и утилитаризм разума. Средневековье – культ человеческого чувства и презрение всякого разума. Возрождение – охудожествление средневекового чувства и очеловечивание античного духа. Затем пришли господство художественного разума над подавленным человеческим чувством, ещё позднее – ария освобождённого чувства и поиски самого себя, порождающимся духом человечности, и наконец – расширение художественного чувства и углубление человеческого разума. Последнее слово – утилитаризм духа, иссушение чувства, забвение человеческого.

За это небольшое отступление я уже, наверное, заработал на один нахмуренный лобик. Прости меня, моя радость, ты знаешь, что кстати подворачивающиеся слова – не самое лучшее, что я дарю тебе. Тебе – мои поцелуи, улыбки, тебе – мои воспоминания и тайные мысли, тебе, всегда, - моя нежность. Я прижимаюсь к твоим коленям, пеленаю их в мои ладони. Ты в нашем кресле, как тогда, с распущенными волосами, блестящими глазами. Ты помнишь, грусть скручивает нас одновременно, и вот уж не одним только головокружением туманятся взгляды. Я слышу, как твоя щека льнёт к моей – я люблю тебя – мне больно. О, эта боль в сердце – можно ли от неё измениться, следуя диетической прозе, когда более недоступны пиршества любви !

Сколько бессчётных лесов, холмогорий и рек я пересёк, чтобы придти на наше свидание. Я назвал твоим именем всё, что не проходило людскими ночами и сердцами, всё, на что я натыкался

только в себе, всё, что мне сулило твой свет в конце долгого-долгого пути. Я разгадывал твой голос в журчании забытых ручьёв, я узнавал глубину твоих глаз близ неподвижных озёр, я разучивал свежесть твоих губ в утреннем дуновении, я отыскивал нежность твоих рук в мягкости листвы, на которую ложилась моя голова, когда я падал от изнеможения и засыпал под открытым небом. Но я не знал, что ты следовала за мной. Я не мог верить, что буду однажды горд твоей любовью, перед которой моя собственная преклонится, восхищённая и смиренная.

О, это ненависное ожидание ! Маленькая моя, ни минуты не удаётся мне вообразить жизнь без тебя. Ты здесь – и я знаю, что живу. Ты уходишь, я теряю тебя из виду на какой-то миг – и я уже не понимаю, зачем дышать, желать.

Боже мой, боже, все слова и слова, без единой искорки моей жизни. Останови меня, прикрой мои глаза, возьми руку и поднеси её к груди – прочти, упейся моей любовью ! Моя дрожь говорит так отчётливо и самобытно. Она не прячется, как слова, за то, что нагромождено людьми за прошлые тысячелетия. Женщина моя, Настенька моя, чистый мой свет, - люблю тебя, и ещё не родилось рыдание, которое смогло бы задушить этот крик. Помнишь ли ты тот июльский вечер, перед столом, усыпанным нашими письмами, помнишь ли ты это внезапное удушье, заставившее меня прижать к губам твои руки и совсем не своим голосом выговорить многозначимые и неразумные клятвы ? Я их сдержу.

Наверное, я уклоняюсь, моя хорошая, от тех великолепных рецептов, которые я прописывал нам обоим две недели назад. Приди ко мне скорей и напomini о существовании где-то там, внизу, у обычных двуногих, этих расчудесных вещей : терпения, самообладания, спокойствия. Но дай мне спрятать пылающее лицо у

тебя на груди. Пусть шёпот твой покроет мои заунывные причитания без слов, да и без дельной причины.

Вот уже две недели, как я предаюсь полнейшей прострации. (Не сосем так, впрочем : я поцапался ещё разок-другой с полномочными судьями нашего счастья, и, ещё один подвиг, лавочный, - достал для нашего марта кой-каких разносолов – это, конечно, не всепожирающая активность.)

Это наваждение, мучительное и сладкое, - ты мне слишком близка. Как и поэзия, ты не выносишь благоразумных соседств. Нужно, чтобы пришла моя эпистолярная Настенька и заговорила о моём долге. Февральская же Настюша забросила всё на свете, чтобы забиться в моём сердце, а оно и радо-радёшенько, хотя ему от этого и нестерпимо жарко.

А помнишь ли ты ещё другой февральский вечер : ты у меня за спиной, ты медленно-медленно идёшь ко мне, я прикован к полу, я не слышу тебя. Твои руки ложатся мне на плечи и соединяются на груди. Я прихожу в себя, схватываю эти милые руки, целую их, глажу ими свои щёки. Ты прижимаешься ко мне, голова в моих волосах. Я не оборачиваюсь, я знаю, что не вынесу... - как мы слабы, как глаза наши слабы...

Девочка моя, дай перецеловать все твои пальчики, один за другим, дай лицу скатиться в твои ладони, дай голосу изобрести новые нежности, ещё неведанные смертным – ты знаешь, что я люблю тебя ?

LXX. Март

Пришла твоя ласковая записка, и я теперь знаю, что, во всяком случае, две недели назад ты ещё думала обо мне. Обо мне, закланном пред этим тупым истуканом-одиночеством, невыразительным и невозмутимым. Сон не даёт, а бдение улюлюкает, заливаясь о голосащих далях, тех, что поглотили тебя. Но вкладывать мне свечку меж пальцев – не отчаянию. Пусть эта, то наизволок, то внезапно находящая боль омертвляет голос, но просящееся слово остаётся тем же – *люблю*. В тебе, любовь, в твоих руках – всё моё счастье, всё моё горе. Мы будем вместе. Я жду утра нашей жизни, но в эту минуту я больше всего ищу забытья.

Пусть сегодняшний мой лепет будет верным отзвуком наших безмолвий. Мы всё ещё в перелете нашей любви, так оно и лучше, быть может, как бы нам ни хотелось зрелости и взросления. Твоя открытка поведала мне, что время не остановилось, что этому сердцу должно бы дышаться и вериться, а оно разучилось жить без тебя. Лишь убивая в себе частицу за частицей, влюблённый касается вечности. Вкус вечности мне уже знаком, горлу не хватает глотка мгновения, того мгновения, когда мы вместе.

Разбиться ли сердцу или облечься в бронзовые лапы? Разбиться значит понять, что не принадлежишь себе, - я дошёл до этого. Что до бронзы, скапливающейся в области сердца в часы бесплодного ожидания, то с этой задачей мне ещё возиться и возиться. А пока я лишь следую тому, что неизбежно и учусь его желать.

Счастливая любовь – это всегда готовая сорваться лавина в чувствах. Чтобы вызвать её бывает достаточно едва слышного эха. Тогда погребаются все сомнения, и в общий поток увлекаются и застывшие воспоминания и завалы будущего. Я вижу свет, любовь

нашу, я вижу пики, радости наши, я вижу горизонты, жизнь нашу, - мне не хватает толчка, эха губ твоих, Настенька.

Было время, когда страдание было желанным. Оно смывало всякую сорную, жизненную накипь и предохраняло от самодовольства. Но теперь ты здесь, прелесть и счастье моё, и ты ждёшь от меня покоя, забвения и лёгкой-прелёгкой нежности, и я так хочу дать тебе их.

Как и я, ты умеешь замыкаться в нашем неторном кругу и не задеваться сверх меры этим злопахательствующим и часто безобразным внешним миром. Настоящая чуткость не страшится близости уродства, она его просто не допускает в царство прекрасного для сравнений. Умение презреть второстепенное – привилегия философов, аристократов духа и влюблённых (ох, так ли? – так, когда они разлучены!). Я вижу наши философские дни, в корпени над хлебом насущным, наши аристократические вечера, принесённые в жертву беззаботности, я вижу наши любовные ночи, наше насущное бражничество перед пылающим жертвенником.

Будничная людская жестокость идёт своим чередом. Снова и снова меня выставляют из кабинетов, не соблаговолжая *охарактеризовать*. Они выставляют себя хранителями душ, хотя чаще просто стерегут тела в чине зауряднейших надсмотрщиков. Я *малоизвестен*, мне, видимо, не достаёт *морального достоинства*. Доказывать что-либо перед этими отвратительными, своекорыстными и тщедушными подонками – до такой степени унижения я ещё не докатился. Я повинен в том, что не затесался во время в их бессердечное стадо. Их настораживает в моих глазах отсутствие той рабской преданности, по которой их всех можно опознать. Нашу гордость и чистоту я берегу в себе, эти *аргументы* я привожу лишь перед судом своего сердца.

Жажда тебя дополняется жутким ощущением пустоты вокруг. С тех пор, как я тягаюсь с партийной властью, меня избегают, как

прокажённого. Ни одна живая душа не делит моих часов и мыслей. О, если бы я умел ненавидеть, если бы я умел притворяться покладистым и терпеливым. С этим неотвязным *социальным пороком* легко записаться в эдакие великомученики, но ни гордыня, ни слава, ни ухарство меня теперь не манят. В этот час, единственное, что мне приглядывается, - это быть счастливым.

Любить значит ожидать. Так я говорил себе некогда : ожидать откровений, таинственных проблесков, столкновений с внутренним миром. Вот мы и разучиваем теперь бесчеловечные уроки этой премудрости. Мы, оторванные друг от друга, вместе с желаниями, жаждями, улыбками. А ведь когда-то я был у твоего изголовья и защищал от странных снов и долгих ожиданий.

Солнце заливаёт наше нечаянное прибежище и пытается очистить его от всех чёрных часов, разбросанных там и сям, и гуще всего около нашего *поющего* столика. Но оно слепое, как и всё остальное : оно не выхватывает из пустоты твоей присущности, твоих глаз, которые я, однако, так явственно угадываю. Для него ты слишком прозрачна. Для него нет ничего более непроницаемого и непостижимого, чем глаза мои без тебя, и оно заставляет их блестеть и играть его, уже увлажнёнными, лучами.

Как мне хочется взять в ладони твоё лицо, заглянуть в глаза со всей моей бессловесной нежностью – Настенька, далёкая Настенька, я люблю тебя, люблю улыбку, отвечающую мои ласкам. Ты шепчешь, что любишь, и я покидаю, ещё более зачарованный, эту Землю, унося тебя с собой, такую доверчивую, с губами, ждущими моих поцелуев.

LXXI. Март

Оно в руках у меня, это долгожданное письмо ! Жизнь моя, радость моя, добрая, красивая моя девочка, все эти дни я носил тебя в себе, я ласкал тебя, глаза слезились от твоего света – но вот ты теперь здесь, сама, живая и неотразимая, теперь ты уносишь меня в невесть какие края, где всякий свет ласкает, где всякая ласка освещает, обогревает. О, отдалимся, хотя бы на минуту этому слепому счастью, в котором ожидания – лишь бестревожные антракты какой-то пасторали, играемой безмятежной жизнью в нашу честь. Мудрые чиновники обнаруживают у себя сердце и ищут ему приложения. И даже наши мечты где-то соприкасаются с действительностью.

Найди утешный покой вот в этих бумажных ласках, в этих страничках, на которые падают по очереди взгляды наших разлучённых глаз. Но, может быть, ты открываешь между строк всё неистовство негасимой жажды, угадываешь зарождение ещё не объяснившейся любви, читаешь вступление к истории о необыкновенном, неслыханном счастье.

Хочу слышать твой смех, хочу бежать вслед за ним, и вместе с ним впадать в наше молчание, и снова видеть переполненные нежностью глаза, и забывать, что обнимаю только тень твою и вижу только непроглядное будущее – о как мы будем жить все наши мечты, мы, только и делавшие, что мечтавшие о жизни !

Нет, нет, эти поцелуи не пропадут в пустоте, они вернутся на истосковавшиеся губы и на них оживут. Мы переживём, моя Настенька, мы прочтём наше счастье вне этих невзрачных листиков, мы будем пить его в глазах, искрящихся будущим. Я услышу однажды : *Я пришла, чтобы уж больше не уйти* - и всё зло, вся жестокость, вся ложь, которыми нас окатывают ответственные

работники чужих счастья за неосторожность любить друг друга – всё это канет. Наше решающее свидание возвратит миру доброту, открытость и великодушие.

Месяц назад, милая, ты помнишь это молчание, которое растревожило бы чуткий слух сильнее иных воплей, и эта спешка, глаза ниже подошв, сердца погашенной фонарей, руки неузнаваемой детства. Но там, на улице, мы уже не были теми сгорбленными и вздрагивающими фигурками, что тащились в пустоту рассветным 4-го августа. Нет, мы оплакивали 3-е февраля, но и улыбались жизни. Я ещё вижу тебя в последнюю минуту, уже по ту сторону нашего счастья, с закушенными губами, готовую в любую секунду броситься ко мне. Что-то подступает к горлу, никто бы ещё не заметил этого микроскопического движения руки – но ты уже здесь, под моими губами. И что она может поделывать, эта решётка между нашими телами – мы переплелись душами. На этот раз окончательно, неизбежно, неотвратимо, роково, бесповоротно, необратимо – ты уходишь, но скорее, скорее, любовь моя, скройся за поворотом, поспеши, если не хочешь, чтобы эти прутья оказались острее судорог в моих руках. Через час я буду у нас, вдали от твоих глаз и твоего слуха – тем лучше.

Утром я останавливаюсь на пороге нашего убежища, говорю тебе *до свидания*, шепчу тебе час возвращения *жди меня*. Вечером ты прыгаешь мне на шею, мой несчастный портфель, с переводами и картошкой, летит в угол, я рассказываю тебе, как я любил тебя сегодня среди книг, людей, троллейбусов, смотри-ка, милая, какой я сегодня был *сильный*, и ты пересчитываешь наши победы по шкале моих рекордных улыбок.

В этот четверг, быть может, я выбью одну важную подпись под моей славной *характеристикой*, одну из дюжины. Это стоило мне немало унижения, но придало чуть больше надежды. Чиновничья

Россия стала чуть податливей, проведая о том, что ты навевывалась к её обожателям с площади Фабьена. От всего сердца желаю нам повисить до неслыханных высот политическую грамотность. Ведь мне предстоят допросы о бородинских и малаховских катавасиях, о тильзитском облапошенье, о мытарствах лотарингских металлургов и мощи французского гарнизона в Берлине.

Ты называешь нас ягнятами, малышка моя, потому что мы не умеем причинять зло. Но нужно и держаться подальше, не затёсываться в бараньи стада, в которых, на самом деле, жвачная братия лишь ищет приложения своим волчьим инстинктам.

Те, кто пытался их очеловечить, всегда кончали тем, что сами зверели. Самая страшная из утопий : вести к слишком высоким пастбищам животных со слишком низким аппетитом. К тому же, самый справедливый на свете транспарант имеет любопытное свойство легко сворачиваться в пребойкую плётку, в кнут ; достаточно, чтобы за высокую рукоять ухватились достаточно низкие руки.

Справедливость – это, быть может, Равенство в выборе жвачки, Свобода в её усвоении и Братство между Сильными и Слабыми.

На перекрёстках Человечества люди слепо следуют за звездой Справедливости, пренебрегая всеми предостерегающими светофорами Мудрости, и потому переламываются колёсами Истории. Выжившие же продолжают тянуться в сторону очередного тупика Прогресса. Как бы близко ни совали им под нос знаки Уличного движения, их близорукость и сгущающиеся над городом Страха сумерки предвещают заторы.

Я, кажется, спокоен, любовь моя, я могу взять тебя на руки и кружиться, кружиться. Держись за меня, моя очередь терять почву под ногами, я лечу к нам, к нежности, к твоему ожиданию – я счастлив, и

силы возвращаются ко мне, и весь мир и всякая жизнь напрашиваются в друзья, и здесь, у твоих ног, я им шепчу свою благодарность.

Так полагаться на одну веру – счастье нищих духом и мудрых сердцем. Сомневайся в несчастье, верь в счастье. Маленькое сомнение убивает большое счастье ; наивная доверчивость защищает от большого несчастья. И низких истин нам дороже...

LXXII. Март

Вот и твоё стоцветное письмо. Каково-то мне, с заковычным своим глаголаньем, в твой рост ему не встать, как ни силъся. Будь неладна теснота-нищета словарей за воротами иберийского замка, заколоченного разлукой. Но правда моего сердца выше всякой красочности, подсказанной вкусом и размышлением. Язык уже выбился у меня из доверия, ведь ум, глаза и желания укутаны такой чудной дымкой, которую не запечатлеть никакому слову. Но ты, всё же, угадываешь за моим самотечным унижением слов кое-какие всплески, радостей, ждущих нас ?

Опять мучительно обламывать перья, испещрять бесцветные страницы – что за неблагодарная роль для этих рук, когда-то ласкавших тебя. Хоть бы одному крику *люблю !* дотянуться до солнца и упасть на твои глаза одним из его лучей, словно ластящиеся шептания.

Это наша удача – представать перед жизнью, протягивая, прежде всего, сердца. Другие поступают наоборот. Они вгрызаются в почву, переворачивают множество ископаемого добра и попутно натываются на извлечимую жилу, которую нарекают любовью.

Наша любовь явилась по собственной фантазии как пробившийся чистый и неуследимый ключ. Она умножила жажду жизни и её глубины. К ней же не примешалась пыль прозаического рукопожатия. И так долго мы любовались её переливами в наших глазах и признаниях – пора, пора, любовь моя, о как пора протянуть ладони к этим струям и утолить, наконец, этот растущий пал в душе и горле.

Пессимист нам смотрит на ноги, оптимист – в глаза. Одни тычут в нас с насмешкой, другим же должно быть завидно. И лишь ты заглянула в сердце, да, впрочем, ты никуда больше и не заглядывала,

на самое большое благо нашего не разбрасывающегося счастья. И ничего-то нового ты больше не откроешь во мне, моя природа излилась в тебя, вся целиком, в первый же миг нашего соединения, с первого же объяснения я уже любил тебя без остатка.

Любить сердцем нам далось без ученичества, но мы научились любить и взглядом и жестом. И кем бы я был без твоих *темнеющих* слов, без *символической* близости. Мне полюбились *барочные* часы моего счастья, подобно барочным эпохам истории, когда человека больше увлекало возгласие своего неоднозначного *я*, чем подтверждение чьей-то однозначной истины, даже назвавшейся вечной. Посмотри, как легко я перелистываю теперь века, подобно тому, как прежде я одолевал страницы вседневья – и всё в них приоткрывает, обещает новую эру, эру нашей любви.

Меня всё меньше занимает моё место в веке и весе. Развитые существа, по предопределению, идут в творчество, в созерцание или в схиму. Для одних люди – такой же материал, как и камни, для других – такая же диковина, что и корова, для третьих – такая же небывальщина и безнадёжность, что и Бог.

Ни моё *общественное* ничтожество, ни худосочность попыток творчества, ни мягкотелое затворничество без жизни не гнетут больше. Если же, всё-таки, жизни будет угодно, чтоб я урвал на склочных её полях какую-то победу, лавры и венки лягут к твоим ногам. Но что ещё за венки : *all I want, all I wish is a Tear* твоей радости, когда увидишь, что я счастлив в любом окружении, в любой судьбе, которая нас изберёт и увенчает.

Слова нежности не даются мне сегодня, любимая. Чтобы наша любовь заговорила на своём языке, мы должны быть вместе.

Я возвращаюсь на Землю. Приглашение, похоже, зашло в окончательный тупик. Мне заявляют, что *неумеренность* и

невоздержанность моего поведения делают меня *недостойным* представлять советский народ перед иностранцами. Чингис-хан, Чингис-хан, ты дождался телефона... Смехотворность, разведённая отчасти и горечью, тем более кричащая, что никому и в голову не приходит перечисть эту пресловутую *характеристику* (вполне, кстати, благонадёжную), которая, теоретически, а не по самодурью, должна была бы быть единственным содержанием наших кошко-мышкиных игрищ. Число их, между тем, перевалило за дюжину.

До всякого разбирательства уже будучи в их глазах уличённым злоумышленником и, к тому же, усугубляя свою виновность малосотрудничавшим, а то и прямо строптивым поведением на их судилищах – вплоть до *запирательств* - я начинаю, и в самом деле, докапываться, а не водится ли за мной, и впрямь, каких-то плутней, которые оправдали бы эти таски и заклеили моё умокиченье.

Но хватит этих иереминад, филиппик и диатриб : когда чиновникам доверено вымеривание нашего патриотизма, - негодуешь, но когда их своеволием решается судьба нашего счастья, самого просточеловческого и самого нерасчётливого – тут уж лишаешься языка, и меры гнева ничто не может передать.

Где найти, в наши дни, душу мужественную, которая соединила бы в себе бездонное опьянение любви с наладонной, смиренной простотой ! У этого союза столько противников : тщеславие, гордыня, пошлость, обывательщина.

Ты сказала как-то, моя прелесть, что я выучился размышлять сердцем и чувствовать умом. Есть что-то в этом от женственной русской души, от её разумного безрассудства и задушевных размышлений.

В душе больше нет теней : твой свет заливает её и в раздольные дни мысли и в превосходные ночи чувства. К тому же ещё есть и

звёзды : это и твои поцелуи, сеющие дрожь по всему телу, это и улыбки твои, снимающие с мира всю тяжесть и запускающие мои желания вокруг твоих астральных губ, это и твои жаркие ласки, вырывающие у меня то взлётный выкрик, то причальную тишь.

Я люблю тебя, Настенька, - на губах твоих услышь всю сочность этих слов, а в сердце – их зрелую нежность.

LXXIII. Март

Отворачиваюсь от навязанной прямоты дела, чтобы снова оказаться перед навязчивым кривотолком слова. Ещё один монолог, который я начинаю тучей ласк родным твоим глазам, моя прелестная, тучей сластинок из тех, что ты больше всего искала своим губам. Единственное, чего мы можем требовать от этого словесного хлама, - это подтверждение, время от времени, что это самое время не застряло, не увязло. Точный час нашей любви известен лишь улыбкам, тем самым, что заставили нас в своё время, забыть о всяком времяисчислении на свете.

Ты читаешь сердцем, видишь умом, понимаешь чувством – а глазами ? – побереги их для моей нежности, для твоих улыбок.

Oh, learn to read what silent love hath writ

To hear with eyes belongs to love's fine wit.

Слово это зеркало, в которое смотрится ум. Но дуновение, тепло, страсть отпечатываются лишь на более чутком материале. Более того, это злосчастное зеркало искривлено и исцарапано, оно обезображивает, искажает, осмеивает, подчас, то, что я силюсь ему доверить. Наши слова – это крошечные щели в стене разлуки : свет не проникает сквозь них, но если мы припадём к ним глазами сердца, то увидим, по ту сторону, целую вселенную нашей сияющей свободы.

В эти недели я знакомлюсь с миром, в котором живу уже четверть века, - и мне тошно. По какой-то невероятной игре случая (не оттого ли, что я никогда и ничего не требовал и безропотно принимал всё, что предуготовливали распорядители общественно-полезных занятий).

Обособляясь и отобщаясь, я оставался вне всех как мелочных, так и грандиозных социальных препирательств. Моя наивность и простодушие представляются настолько неправдоподобными, что их принимают за какие-то ухищрения и утайки, и пытки от этого лишь удваиваются.

Что проку, виновато оправдываться, что не набиваясь в их приспешники и ровни, я и не махаюсь быть лучше их, я просто-напросто другой, иной, чем они. Порой находят на меня жуткие минуты, когда я сожалею, что не взял даром переёма заурядности, притворного энтузиазма и целеоправданного лганья. О это набитое дурачьё, эта облыжная, самодовольная бестолочь, и, право, ум обратен деньгам : чем его меньше, тем человек довольнее.

И ни одного уха, готового прислушаться к этой грусти. О, башня наша, о, иномирье забытьё, чаятельная простота, скитничий покой – я зову, зову вас, я, затерянный среди людей, воплощающих всю вашу противоположность.

Я хочу, чтобы твоя любовь ко мне примирила со всем и вся, рассея все раздоры и укоренья. Это заоблачное, безземельное счастье сближает наши надежды и становится самой нашей жизнью.

Ещё один сердобольный интурист взялся переслать моё письмецо. Я спешу, ты получишь его, быть может, до отлёта в Москву.

LXXIV. Апрель

Тебя уносит всё дальше и дальше. В эту минуту ты, должно быть, уже над Германией и, конечно, вот в этом влюблённом сердце. Через несколько часов я улечу в Москву из этого ленинградского аэропорта, улечу к местам нашего мартовского счастья. Бедная моя, ты их не увидишь раньше мая. Вся моя нежность, вся моя жизнь – тебе, тебе – во имя нашего счастья – я жду тебя.

Ты ушла, но губы твои ещё должны хранить тепло и трепет моих. Я прочёл, моя нежная, твою прощальную записку, я выпил твою последнюю ласку. Сердце устремляется к тебе, вслед за тобой – Настенька, Настенька – пусть этот шёпот, это ёканье в груди долетит до тебя, защитит, ободрит, любимая, обожаемая, о, как я люблю тебя, тебя, дышавшую и улыбающуюся со мной в эти десять дней, захлёбывавшихся тихой надеждой и будоражающим покоем.

Наша любовь укрыта от разбойничанья отчаяний, привычек, навыков, усталостей, анкет – мы обнялись, несколько минут назад, с тем же очарованием, что и ранним утром 25-го марта. И если глаза наши не были столь же *твёрдыми*, а руки – столь же *уверенными*, то лишь по той простой причине, что жажда друг друга оставалась прежней.

Вернёмся в наше горемычное терпение, онемеем перед гулом и чудом возмущений, грозящих увлечь нас в изнурительные пререкания с этим гнусным веком.

Мы уже по эту сторону кулис, нам навязаны нелепые роли. Сочинители этого бумаготворчества так дорожат близостью к тексту, и они так всемогущи и мстительны. И если на этой презренной сцене нам удастся, втихомолку, переслать друг другу кое-какое письмецо

или болтнуть разок другой по телефону – последний антракт станет лишь ещё ближе.

Наша любовь наблюдает за нами из зала жизни, лишь она умеет читать между строк. Будем же смеяться и плакать, неуклюже или провидяще, станем разыгрывать комедиантов, доверившись суфлёрам терпения.

LXXV. Апрель

В наше отсутствие, незваные и неназваные гости нанесли визит нашему убежищу. Налёт этот был слоновий, и корысть отнюдь не уголовного свойства. На этот счёт можно теперь растекаться далеко идущими, горькими и естественными размышлениями.

Чернь, грязная, грубая чернь, – ах, если бы, шля её подальше, можно было чего-то достичь, хотя бы для самоуспокоения. Но они так всемогущи и так высокопоставленны. Толпы всех веков и народов стоят друг друга, но неподражаемость нашей – одержимая, бессбойная, злобная травля всего, что не вовлечено в её обряды, понуждение к наглядному и обязывающему сообщничеству, отторжение права на одиночество, на воздержание, на безучастность.

Где-нибудь, сейчас, какие-то куромозглые сыщики прослушивают, может быть, записи наших смехов и плачей, чтобы потом, неуклюже, намекать на них в парткомовских кабинетах.

Меня из без того так часто настраивала и охмуряла психология безлюдья и безрыбья, а тут теперь ещё и это неуютное чувство обсаженности самого себя крючками с разной грубой, пресмыкающейся пакостью на них.

Между тем, моя мужественная подруга, вот я и снова выброшен на улицу и пробавляюсь нищевродством. Купил чеботы, да не избил босоты. Никогда уже нас не приютит эта весенняя клетушка, да она и должна-то была послужить лишь однократной мышеловкой, только её застрельщики не ведали о том, что аппетиты сердца порой осмотрительнее голода. Чтобы там ни было, наше желание жизни больше не *заговор*, а всего лишь *вызов* ! Как хорошо, что я никогда не расстанусь с твоими письмами.

Пусть я босяк, пусть отныне я приравнен к смутьянам и крамольникам, пусть люди исхитряются оторвать тебя от меня, - всё это бессильно, как впрочем, и я сам, бессильно что-либо изменить – я живу твоей любовью. Я перенёс четвертования твоими уходами и дознания, с пристрастием, моих сомнений – голос твоей веры научился проникать сквозь все стены – чего ещё я могу бояться.

Чем лучше мы поняты, тем глубже укорены в Земле. Чем лучше *прочувствованы*, тем мы окрылённей. А нас и не понимают и не чувствуют! Ах, если бы эта глухая Земля замечала лишь наши паренья или наши паруса, а не нашу хромоножку переступь по казённым сушам!

Всё это, вероятно, лишь присловья и многоглаголанье. Хаять и злопыхать на скопища и сонлица наострились и те, кто среди них вольготно подвизается или же непоправимо втравлен в их грызни. Им это даже и сподручнее: чувство обделённости включает ярее, чем гордое чувство отверженности. А гуртового человека лабазная среда может только обчесть, чужака же она просто не впустит на порог...

Как зачерпнуть из той глубины, которой мы достигали в наше весеннее торжество! Как назвать её, когда мне кажутся недостаточными даже такие имена, как любовь или счастье! И если судьбе будет угодно противопоставить эти два имени, то либо по причине огромности первого или ограниченности второго.

Это – приятие *неизбежности* любви, чувство того, что полнота и богатство нашей жизни – не дело лёгкости, ни даже ясности – нет, я сбиваюсь, не то говорю, я никудышный знаток человеческого сердца.

Любовь прекрасна как чувство жизни, но она велика и величественна как содержание жизни. Я с такой силой устремлялся за любовью, что, настигнув её, не мог удержаться в ней самой, и инерция

чувства меня доносила до счастья. Но любовь светится своим собственным светом, причём во все стороны, и счастье – это лишь одно из возможных направлений.

Целиком довериться свету любви, чувствовать, что движем грандиозными и неисповедимыми толчками, открываться и приветствовать всякий образ жизни, высвечиваемый любовью, - вот какие-то выдержки, обрывки из моих фантазий, проявившихся в последнее наше свидание.

Капли дождя (да, да, дождя – что-то небывалое для апреля) прервали мои голословия, упав на эту страничку и пометив слова : *ты, всё, перенесу* - небо преподаёт мне уроки оптимизма.

Я снова вижу тебя на пороге нашей ленинградской *явки*, я вижу тебя, лёгкую, разулыбавшуюся. Вот ты садишься передо мной, мы держимся за руки, и роняемые невзначай слова принимают размеры породнившей нас вселенной. Если словарный запас нашей любви и сводится всё больше и больше к *люблю тебя*, движения, передаваемые на её языке, становятся всё менее академичными и изумляют, порой, нас самих...

Я люблю тебя, моя Настенька, это признание рождается сегодня в чуть ошеломлённом, приостановившемся сердце, но готовом взлететь в любой край, куда призовет твоё сердце.

LXXVI. Апрель

Не всё плохо в том, что у нашей любви нет земной биографии. Я счастлив, что на этой Земле ты появлялась лишь как воздушное видение, как существо, тревожившее сердце и умиротворявшее душу.

Я пришёл к нашему жалобному Гоголю. Та же скамья, но без тебя, моя любовь. Те же ветки, что скрывали слёзы и поцелуи от тех, кто не догадывался о бедствии 4-го августа. А этой весной, сколько раз мы вдруг останавливались и открывали, что мы вместе, и губы спешили удостовериться в этом, и глаза смежались, успокоенные и обулыбленные. Но если впредь мы с тобой лишь заглазно и заустно можем шептаться, то не потому, что разводят нас в две руки разуверенья и сутолочь.

Пусть в каждой перспективе – безысходность и одиночество, я уже не отверну своих желаний, они обратятся к нашей любви, как и 3-го августа, как и сегодня. Жизнь итоговая, жизнь, кичащаяся отсутствием незаглушимой боли, - не для меня.

Быть может, я не знаю тебя, удивительная жена моя, ибо ты единственная, живущая по ту сторону того, чему я ищу объяснения. И я влеком к тебе, одномилой, лишь однолюбом–сердцем, с одним единственным образом в глубине, и поэтому не знающем сравнений.

Я не хочу никакого утешения в этой бездонной пустоте, которой бы стала жизнь без тебя. Мне хорошо от исполнения тобой до кромешного опьянения всех моих чувств. И в самого себя я верю, лишь черпая веру в твоей любви.

Я любил тебя, в наш первый апрель, ибо твоя чуткость обнаружила мне Женщину, ту самую, что издавна обрисовывала мне мечты, и ту, что нарастала из образа Насти нашего первого сентября. В этот

апрель, я люблю тебя, моя единственная, безо всяких сопоставлений. И всё, что доходит до меня от тебя, моя любовь, становится жизнью. И всё, что я шлю тебе, любовь, пропитано моей нежностью, моим желанием нести тебе счастье.

Из искусственности и мелочности наших современников я убегаю к древним, которых занимают лишь большие мысли и дела и которые насмеваются над напыщенностью и проповедуют извечную пустоту как слово наивыспренных истин.

Они исходят от осязаемой природы человека, которая непостижимей и глубокомысленней всех отвлечённых умствований. Их выводы обращены к каждой отдельной душе, а не к шкалам, стилям, образовательным уровням или заботам века.

Они пишут для своего собственного душевного покоя, а не для тщеславия. Перед глазами они постоянно держат самих себя, а не искомого читателя. Их слушаешь с широко раскрытой, по наивному *мудрой* душой. Наши же современники хотят прежде всего, чтобы их разглядывали по-умному *затуманенным* разумом, вплетённым в хитросплетения их схем.

Величие древних сохраняется как в затхлой хижине, так и в воздушном замке. Их нынешние рассудочные соименники могут жить лишь в умеренном климате пыльных библиотек.

Мысли, почерпнутые у других, служат для древних лишь удобрением для их собственных взращений. Какой контраст с лжеплодами паразитов, неплодородно облепляющих тепличные побеги своих предшественников.

И здесь, тоже, противоположность между ограниченностью и дотошным всеанализом. По подлой рассудочной инерции всё в нас, до самых светлых внутренних окоёмов, стремится образовать монолитное, жизнеприемлемое мироздание. И мы, его узники,

однажды осознаём это, хватаемся ускользнувшей свободы, но часто обнаруживаем, что деться больше некуда, всё прозаказано, прозаложено.

Мой стоицизм ограничивается земными вещами. Здесь я расстанусь, без стога и скрежета, с самыми неоценимыми благами. Жизнь – что ты даришь мне, и любовь – что я отсылаю тебе, - вне этого круга. Я живу, как если бы передо мной стояла целая вечность счастья ; я люблю, как если бы все изъяснения моего сердца сосредоточились в этой минуте.

От этого дня мне остаётся пять минут. Ты его так чудесно напомнила, я возвращаю тебе его в подарок, на память.

LXXVII. Апрель

Две недели без ласк твоих, без голоса – но я всё твержу те же самые неизбывные слова, перебирая воспоминания, разбросанные по всем уголкам Москвы, моих миллионных стен. Я скитаюсь, скитаюсь по ней. Иногда дождь оставляет меня одного на тротуарах : слова становятся нежней и задушевней, твоя цель – чуть незаметней, тупей. И все взгляды идут внутрь, где я сберегаю свою надежду и твою любовь. Жизнь приостановилась. Её весна ещё далече. Чуткие колокола умолкли. Наверное, разучивают какой-то новый язык, и в это молчание я добавляю своё, потому что губы тоже повёрнуты внутрь.

Глубже всего я чувствую свою любовь, когда неподвижен, а ведь говорят, что любви нужно движение. Я вжился в неё, и воспроизвожу её движения – это моя неподвижность по отношению к ней. Это лучше, чем принимать её у себя как заезжего гостя и обременять её, затем, всеми мелочными хлопотами переездов и перебросов.

Ты любила любовью, не опускающейся до привычки. Гордый ею, я стал бы её презирать, если бы она утвердилась на тех же основаниях, что и обиход удольного люда. Пусть любовь обламывает и перелепляет меня, пусть я стану её невольником – её ярмо желанно и её ноша – благо.

Настенька, Настенька, я твой скитающийся, но не безупречный и не бесстрашный, просто странствующий рыцарь, твой одержимый паломник, твой влюблённый с тысячью улыбок. Последний посреди людей, я наголову превосхожу их в искусстве заселения одиночества вовне заторенных скопищ.

Люди падают вместе с падением земных благ, бывших причиной их *возвышения*. У нас же есть крылья, и нам так хорошо, когда земля уходит из-под ног.

Подлинные блага, конечно же, те, чье познание означает обладание ими. Но и обычные блага буден доставили бы нам больше удовольствия, чем соперникам – землянам, именно по той причине, что, сами по себе, они там никогда не ценны, ведь, в сущности, мы в них меньше всех нуждаемся.

Всякое излишество вредоносно, и самое опасное из них – избыточество счастья. Всякое удовольствие – благо, но не за всяким удовольствием надо гоняться. Всякая боль – зло, но не всякой боли надо избегать во что бы то ни стало. Какое несчастье – так и не испытать никогда несчастья.

Ирония заслоняет внутреннюю жизнь от наружной или, но без тебя я так быстро дичаю и начинаю принимать всерьез любую ахинею. Снова угрызает бездомность, уязвимость со всех сторон. Заново без крыши, почти без права на существование, без пресловутых средств к нему, без чьей-либо участливости, и злорадству предержавших середину нет предела. Вот когда я понимаю, что мало уживчивости с их неправдой, требуется, для общежития, вживание.

О, твоя усталость, эти вокзалы, аэропорты. Можно пренебрегать сердечными ранами, когда близость держится контактом эпидерм, но когда сплетены сердца, мы дрожим за царапины на пальчике возлюбленной, и все добедки, набедки да перебедки становятся теми же бедами.

Что с тобой, родная моя? Мне не хватает твоих губ, моя жаркая, твоих рук, моя мягкая, твоих глаз, моя светлая, твоих слов, моя дивная, твоих дней, моя вечная... Вбираю свет всех наших дальних и ближних встреч и посылаю тебе, милая, чтобы и тебе узнался восторг

негасимой памяти. Дай любить тебя чуть слышно и потаённо этим
нескончаемым вечером, дай не вспомнить о километрах и днях. Жить
ожидающим нас и не позволять глазам говорить чем-то иным, более
текучим, чем взгляды. Люблю, только люблю...

LXXVIII. Апрель

Мне бы сложить голову на твоей груди, закрыть глаза, сбивать все сосульки биениями твоего сердца и таять под твоими руками и молчать, залитому благодарностью и негой, благодарностью твоему волшебному голосу.

На этот раз я пришёл к Гоголю прогрессивному, к Гоголю-энтузиасту, тому, до которого рукой подать от нашего. Я должен видеть много неба над головой, вскружённой и упоённой, я должен ещё в чём-то ощутить возрождение : в деревьях, в окатистой птичьей братии, впервые так звонко поющей о весне и крушащей последние ледоставы.

Я думаю о тебе с перехваченным дыханием. Всё, что делает жизнь стоящей проживания, ждёт тебя. Я принесу тебе, быть может, много неуверенности в дальнем завтра, но наше сегодня будет просветлено светом горним, невечерним. И как знать, я бы и не любил тебя так сильно, если бы не был так слаб. Сильные вовлекаются, часто поневоле, в презренные склоки вокруг труднодоступных, но легко обозримых всеми тяжёбщиками благ.

Я ловчусь выгородить свою слабость и без особой решительности намекаю, что сила ещё более ненадёжный проводник для подвизающихся Истине. И чтобы суметь остаться слабым, случается вымалывать сил у понимающей судьбы.

Быть сильным значит обосновать или верить в благоскромность мира (или одной из его предположительных моделей) и желать занять в нём достойное место.

Разборчивость – удел сильных. Но там, где сильный отделяет овец от козлиц, слабый видит только баранов или волков. Проклятие

слабого – нечувствование преимуществ и мотивов действия. Проклятие слабого – нежелание быть кем-либо. Он не покидает рамок эстетики, сильный же вламывается в этику, и его проклятие – желание быть кем-либо.

Удовлетворение сильного – сближение с ясно означенной целью и посвящение ей осмысленных усилий. Удовлетворение слабого – несение бесцельности как душой оправданной цели.

Беда сильного – падение до разряда слабых в глазах сопричастников – забияк. Беда слабого – открыть в себе сильный взгляд на мир при прежней своей неуклюжести и слабости средств.

Рухнувшие гиганты и соблазнившиеся святые – излюбленные мишени скопного зубоскальства. Но канувшая сила всё же почитаема, тогда как наивная слабость обличаема и хулима.

Это разбиение на сильных и слабых гораздо интереснее привычного пустозвонства об умных и глупых, богатых и бедных, пройдох и неудачников, тружеников и лежебок, творцов и подражателей.

Но вернёмся к нам. Нельзя выставлять любовь в витрине жизни. Но в замкнутости, в близком, но узком кругу мыслей, вдали от осаждающих, но будящих самосохранение толп, но и в дали от действия и творчества, всякий воинственный запал может разрядиться, и мы рискуем впасть в бессодержательность и вялость. И единственный, быть может, способ не самопотеряться – это быть вместе, по настоящему вместе, лишь в те минуты, когда мы в силах побороть будничность.

Наша близость действует точно так же, как у других проявляется расстояние : она уменьшает предметы для глаза и увеличивает их для ума. Наши встречи – это не спуски на землю с мечтательных высот, и

наши лучшие мечты рождаются тогда, когда мы припадаем друг к другу.

Мечта – это маленькое чудо, а всякое чудо рождается и совершается внутри нас. Сколько пустых верований наводит мысль о чуде внешнем, сколько пустых разочарований разносит весть о неудавшемся чуде. Не убивать мечты приписыванием ей земного гражданства...

Отчего спасительны внешние убеждения или внутреннее кликушество? Потому что они приковывают наше текучее, переменчивое я к какой-то недвижимой глыбе, к безглазой вехе или к многоокому идолищу. Мало кому дано печаловаться о том, что тем же весом пригибаются к Земле дальновидные сомнения и загружаются близкосердые порывы.

Аристократизм плоти узнаётся по тому, мимо чего мы в силах пройти. Аристократизм духа – по тому, на чём мы задерживаемся. Среди черни распознаёшь философа по тому, мимо чего он проходит, не останавливаясь, с презрением или иронией. Среди философов разглядишь высокого духом по тому, на чём он останавливается.

Но и бесчувственный разум и омудрёное сердце твердят об одном и том же высшем благе – отсутствии страдания... В отравленные часы (а я уже далеко-далеко от памятников и вёсен) так целебны эти узколобые афоризмы-оборотни. Они увлекают ум вовне, надо только удержаться на коре многодумных пней, где не грызут черви сомнений. А уж потом, на расстоянии, можно и заглядеться на апофеоз, играемый природой и судьбой. Я распрямляюсь, я вижу замешательство злобствующих чиновников при виде лёгкости и веры, с которыми мы идём к нашему маю. Нет уже скитаний по воле течений и затиший, мы не плачемся о *la soledad del barco sin naufragio y sin estrella*.

Нас пытаются держать на расстоянии, взять на измор, открыть глаза на *реальность*. Хамы рассчитывают растоптать нашу любовь ещё здесь, близ почвы. Как же им поднять голову над серостью дней, их тупую, неизменную голову ! Но снова я один, один – я бьюсь за наше лето, но я так разнят, открыт, уязвим.

Небосвод – лучшая крыша для шатучей, взволнованной головы, но когда голов этих две... Не ясностью же души и не голосом сердца мне биться, да и кому придёт в голову замечать мои вызовы, меряться со мной ? Не шлемоблещущие рати меня обкладывают, а зеленосуконные кабинетчики. Здесь состязаются лишь по надёжности усадки в общестадном болоте. А было бы болото, черти будут.

Потуканья от властоимцев всегда у нас было в досталь, но ложь, ужимки и лицедейство не оподляли так поголовно, не втемяшивались так неуклонимо, не были так поощряемы и доходны, так пустозвонны и бренчливы. Доныне и так и сяк, отныне, никак !

Я заукал было в детстве - окрестные своры опсовели. Я взныл и зарёкся не окликать тех, кому не приходилось забредать в свою неухоженность, тех, кто во всяком дремучем пришельце видят угрозу их торному шествию.

Но я что-то слишком громко заговорил. Не нужно бы мне беречь твой покой, нежная моя, моя славная лесная белочка. Я счастья твоего хочу, во что бы то ни стало. Во мне, на минуту, отмер самолюб – о, почувствовать, что ты счастлива, хотя бы и на расстоянии. Моя лёгкость – это уж куда ни шло – но будет жить моя улыбка и чувство, что жизнь продолжается в этом вымирающем мире.

Мы сильнее людей и того времени, которое они заводят и плутовски подводят. Я произношу твоё имя ровным голосом, ведь я знаю : ты услышишь меня, ты протянешь мне навстречу наши лучшие воспоминания, и они сами очертят для нас панораму будущего. Я у

знакомого изголовья, твоя дверь знает шум моих шагов в ночах встретившихся невзначай снов.

Мы были счастливы сегодня. Я не смог вогнать в телефон настоящие, нежные слова, но голова моя так тяжела, любовь моя. И я знаю, что жизнь не очень-то дружелюбна и к тебе тоже.

О, я буду любить тебя в этой жизни, моя Настенька, это бремя ожидания скатится и лишь ещё выше заведёт маятник нашего счастья. И остановить его будет несравненно сложнее, чем остановить наши разлучённые улыбки.

LXXIX. Май

Затравленный городом и его безразличием, я ещё раз вырвался в лес, чтоб остаться ущё чуть уединённой с тобой, моя маленькая. Моя любовь ищет тебя повсюду, но то, что вручает тебя моему сердцу без всяких окликов и оглядов, - это моё одиночество. Достаточно смежить глаза или преклонить колени.

Если двуногие отказывают в радости, двукрылые меня принимают. Их весенним гомоном расслабляется душевное кольцо, стягивавшееся с того нашего последнего поцелуя. Я свой сегодня в пока необобществлённых лесах. Твоё имя витает под каждой ветвью, подёрнутой первой зеленью. Конечно, не для дубовых, лавровых или оливковых венков готовится их торжество, вероятнее какая-нибудь лубочная, липовая, лапотная отрада. Лес радушен, небо не давит остервенелой обычного, но имя твоё вызывает лихорадку на губах : неужели ты застанешь меня в этом недобровольном и порядком осточертевшем бесприютье ?

Сегодня меня расталанило терпеньем. Я каюсь, что руки опадают перед этим несправедливым, дрянным, всеисказительным миром. Он сшибает меня с ног, даже не замечая моих падений. Я слишком захвачен нашей головокружительной вселенной, чтобы выстаивать в их повальных скопищах. Но все мои потуги идут насмарку, ни в сук, ни в пень, вот я и притащился снова с повинной в лес, зализываться в густотравье и переобывать своё нерасхлёбное, неразмычное горе. Но в лесу жить, пенью-богу молиться, а меня ждут в иных требищах, где всякая перебивчивость и через-пень-колодьё может обойтись, чем чёрт не шутит, в гиблое отлучение. Надо вывернуть себя наизнанку, чтобы показать этому ягавому, матёрому миру, что во мне ещё есть чем тягаться с его лапищами.

Терпению отсылает известный душепродавец самое крепкое из проклятий, но он уже был одержим лешим. И чтобы приручить окаянного, ему не хватило именно терпения.

Моя вера – это неприступная крепость, но письма твои – это мирные договоры со всем зарубежьем. Для мирного настроения они, порой, важнее бойниц, смол и стрел. Но всё же я вооружаюсь терпением, всей силой сдерживания, упреждения, разубеждения.

Мне одинаково безвкусны рыцарские схлестки и рыцарские плутни, мужичий мордобой и мужичье вылёживание. Статью противника задаётся высота борьбы ; выбор же его – за тобой. Да не упадёт твоя перчатка на замызанной арене, под праздным и глумливым оком черни.

Выбор тобой самим твоего противника важнее исхода единоборства. Напротив, выбор твоего содружника ценен лишь тем, что, доверяясь союзу, ты открываешь частицу самого себя, доселе скрытую. О лучших союзах уже давно было сказано : свобода чутких, братство незавидущих, равенство самоуничижившихся.

Люди чаще рождаются с правами, предъявляемыми другим. Я же внёс в этот мир лишь один долг, долг перед самим собой. Я много требую от самого себя, хотя ничто, вне меня, мне не принадлежит, а всякая вещь, мне протянутая изнаружи, - всегда только подарок, а не вознаграждение, приобретение.

В наше груботёсаное, толстокожее время кажется подозрительным, когда подвигаешься лишь тонкостенным, перенасыщенным сердцем. Корилюбивый и криводушный мир не может этого допустить.

Дома сегодня моя рацея. Надо бы как-то иначе подвызнобить эту почтовую и жилищную непогоду. Сказать тебе, что мне уже отплакалось, что я не трачу глаз на обвинения и выговоры. Но жизнь мелькает под слишком прямолинейным взглядом, и преломляющая

слеза иногда укрупняет, возвышает её чётче, чем разлагающие призмы опыта.

И жаворонки, зависшие над полями, и вещуны, опрашивающие будущее, и даже попёрхывающиеся карги отвлекают внимание от смутных предметов и поворачивают его к ясности моего счастья, решённого задолго до появления на Земле теней и сомнений. Я счастлив, что ты живёшь в тот же век, что и я. Соединённые чем-то большим, чем даты дней рождения, соединённые до рождения, мы заново нашли друг друга на этой невежественной Земле. Я люблю тебя, Настенька, - я кричу это в задремавшее было небо, я это шепчу, обнимая стволы деревьев, хриплю в траве, на которую падаю, измученный и опьянённый зовущей нас жизнью. О, прекрасна жизнь, в которой я ещё могу ждать тебя !

Сколько горьких вопросов этому безухому, безглазому человечеству приходится подавлять. Надо заставлять свои чувства говорить лишь о твоей близости, советуясь лишь с нашим задержавшимся счастьем. Я истратил столько дефицитного благоразумия, заглушая жалобы на по-свински неразборчивую судьбу, - теперь я пожинаю добрые плоды : я вижу, что никому так не потакало счастье. Мне совестно заключать столько блаженства, перед этим обездоленным миром, так обделённым счастьем.

Девочка моя, малышка моя, я жду тебя, шлю тебе самые нетерпеливые из ласк. Пусть они приготовят тебя к майской встрече с этим сумасшедшим, умеющим жить только с тобой, только для тебя. Улыбнись, положи руки мне на плечи, я стану рассказывать тебе повести о лёгкой и радостной жизни, обитаемой влюблёнными, добрыми, застенчивыми и фантастическими существами, похожими на нас.

LXXX. Июнь

Вот здесь, любовь моя, над этим пустым столом, встречались наши руки, и вот эта мёртвая, немая комната была заселена нашими взглядами – уже две недели, как всё это было. И то, чего больше всего боялись наши сердца, такие неказистые в осуществимом, сказимом, осязаемом, - столкновения с неотвратимо реальной жизнью – приручилось, укротилось волей любви, слепой перед внешним убожеством и всевидящей в нашем прекрасном одиночестве. Через месяц мы услышим эпиталамы, выходя из Новодевичьего. Мы отсчитаем вместе последние дрожи, последние неверия. Наши руки, наши жизни постигнут, наконец, то, что до сих пор тайно и безупречно хранили только сердца. Впрочем, возможно, что ничто, кроме нашего общего счастья, не украсит нашего торжественного дня. Ведь нежданная подачка чиновников не сняла с меня клейма государева ослушника, и я загнан в чумные отгородки. Весь свет будет в нас, и все поздравления – лишь на наших губах.

Глаза, ещё не привыкшие к удольной тверди, отрываются от замученных невесты с женихом и возвращаются к тем ладящим мечтателям, которым удалось донести до нас надежду. Нас лишали будущего – мы отвечали нежностью в настоящем. Били по нашему настоящему - мы ускользали в сторону будущего. Вымаривали нам её прошлое – наша вера становилась оттого лишь более чистой. И теперь – ожидание без трепета и обманчивого самовнушения.

Через год после нашего первого июля мы не стали ни сильнее, ни добывчивее. Мы не свыклись друг с другом, но сердца прониклись любовью Другого и стали нашей жизнью. Всё прочее – молчание, терпение, молитва.

В мае мы подошли к пределам любви, туда, где она смыкается с красотой, со смертью, с Богом. Вот мы и посреди наших созвездий, и рука твоя доверяется моей, и улыбка твоя говорит мне что-то об астральном, и Солнце наше уже взошло, чтобы скоро-скоро достичь своего зенита.

Я люблю всякий идеализм : идеализм нищих духом, опьяняющихся вымышленным будущим ; идеализм нищих воображением, обманывающихся надуманными миражами прошлого ; даже идеализм нищих чувством, предающихся сомнительному делу, которое, в их глазах, воплотило общечеловеческие чаяния. Но наше счастье – это то, что наши *идеи* живут до всяких дат, а часто сами даты наступают без малейших отметин на шкуре мира, по произволу любви.

В бесконечной дали Истины нет никого, но благословен тот, в чьей любви есть достаточно истины, чтобы задышаться в безлюбье и лжи.

Истина лишена притяжения. Она бесплотна, и именно эта бесконечная невесомость, а значит, недостижимость, делает божественными невозвратные, безотчётные шаги к ней – крик без эха и ответа. И стать ближе к ней можно лишь покинув себя, то-есть отказавшись быть в одном, определённом месте, решив быть повсюду.

Правда не на миру стоит, а по миру ходит.

И не впервой мне так чужеумиться, когда все собственные мысли ушли в ожидание. И всякое набежавшее в память слово принимает форму или единственной истины, которую я только способен постичь, или единственной глубины, достойной погружения, или единственной красоты, не вводящей сердца в заблуждение, или единственной любви, не боящейся невозможного, немислимого, смертельного.

Быть может, настоящий мечтатель тот, для кого грубая чернота прошлого столь же прозрачна, сколь и тончайшая лазурь будущего. Мало вселиться в воздушные замки, угаданные в завтра ; сильное

воображение – это навести подлинный, то есть беспокойный, уют в уже не восстановимых и вчера только обжитых лачугах.

Надо вылеплять, а не волочить за собой сопротивляющееся прошлое, а в ускользающем пейзаже будущего надо нащупать направляющие зарубки общечеловечности – в этот труд и творчество, а над ними – только мечта, не делающая различия между застрявшими позади и умчавшимися вперёд. Или, точнее, в прошлом она – хозяйка случайного, в будущем – наложница неизбежного. И чуткую душу должна бы больше слепить жизнь одного из прошлых мечтаний, чем мечта о будущей жизни.

Два года ожидания, непокоя, тоски – но это были первые движения моей новорождённой жизни, и я благодарю их здесь, на этой странице, которая, вероятно, будет последней.

До свидания, любовь! Я иду тебе навстречу, раскроем объятия, протянем руки – так я вижу мою жизнь, всю мою жизнь.

LXXXI. Июль

Мне легче почувствовать на себе твои руки, чем злорадным существам – убедить меня в том, что ты дальше от меня, чем когда бы то ни было.

О, медоточивое рошение навзрыд, о, всхлипье нарождающееся просветление, о, блудосыновий покой на коленях, о, выгон сквозь строй наотмашь салютующих ветвей! И сердечная резь, унижаемая припаданием к собственным ладоням!

Не пользоваться меня больше листьям, вокруг хлопоты знахарствующих листов. Не странникам, а страницам пересказываются тревоги и предчувствия. Не завораживает глухомань, я заовражен, я обложен теснением и тиснением обложек, меж которыми обучают векованью отчаяний.

Вот только так, крайней куролесью, можно навести видимость глади в иступлённом мозгу. Оборотать, пообщунять то ли самого себя, то ли какую-то назойливую теребь, изнизать тончайшую паутину жизнелюбия тяжкими сгустками охаивания и омерзенья.

Дальше от тебя, чем все возлюбленные невесты от своих влюблённых женихов! И смирный-смирнёшенький лес, как ни в чём не бывало, что-то ещё шелестит о расстанях, о переогодованье и скороминучести. Что ему ведомо об *отказах в виде*, о *просроченных бракосочетаниях*, о *положениях о тунеядстве*, наконец.

У меня отняли всё, кроме твоего голоса, три минуты в неделю! Могут оборвать и эту последнюю ниточку, но я останусь вот с этим любимым, улыбающимся лицом, я никогда не оставлю мою чудную девочку. Но не хочется больше видеть дни, хочется удлинить, до предела растянуть ночи.

В который раз стискивать сердце, обрезать крылья неповисшие, заставлять себя верить, что и у людоедов бывает несварение.

Но никакой жизни не отнять меня от твоей любви. Люблю тебя, и никакие пытки не вырвут стона громче этого. Дышу тобой, и никакой яд не уведёт от этой жажды. Верю в тебя, и никакие стены и решётки не убедят, что я один.

Жизнь моя – в этом слове вся тоска, всё ожидание. Люблю тебя, как, наверное, любят последний глоток воздуха, как любят Землю, потерявшие её, как должны любить понявшие её. Как никогда, я с тобой, руки твёрды, глаза высыхают, сердце не перестаёт выстукивать твоё имя. Жизнь не уходит, жизнь, как будто бы, даже приближается. Любовь не расточается, она растёт там, где не расстанутся сердца.

Нет, моя жизнь больше не принадлежит мне. Я должен беречь в ней всё самое светлое для тебя, любимая, чтобы защищать от вселенских сумерек. Моим рукам ещё возводить стены вокруг нашего одиночества, моему сердцу ещё отзываться на твою нежность, а ещё чаще – самому звать тебя и вбирать тебя в себя, не зная ни привычки, ни пресыщения, ни отрочения. И надо – таки сердцем изломать не давшие притчи.

Люблю тебя, свет мой, с той мягкостью, которой не огрубели наши беды, которой не опустошили наши ожидания. И на пепелище скорогиблых земных расчётов я всё же повторяю чрез силу, что беды разминчливы, а счастье встречливо. Так меня учит наша третья осень.

Но как же груб этот скотский мир! Что за Гималаи бесчувственности разделяют нас, что за впадины тупости поглощают наши силы.

Но адовых кругов и бесконечно много, хорошая моя невеста, и придёт наш первый шаг, и нас введут в жизнь, как бы ни молкли гимны и гименады. Пускай, как всегда, у ворот Высокого толчётся

мытарь крохоборной людской злобы, взимающий тем более чудовищную пошлину, чем выше сердце-паломник. Наша любовь слишком высока, чтобы разглядеть подлые земные границы, но поднимут же когда-нибудь эти кишечно-полостные свои низменные свои глаза и увидят наши безвоздушные мысли, невесомые запросы и тоску, тоску друг по другу.

Снова уходить в памятованье, в котором витают голубые мечты, покрасневшие глаза и майские белые розы. Я ищу твою улыбку, которая бы заставила забыть дремучую жизнь и туземцев-людей.

Я буду любить тебя в молчании, в шуме взлетающих радостей или вернувшихся рыданий.

LXXXII. Август

После телефона, после твоего голоса. О, милая, маленькая, хрупкая моя, береги, береги себя. Оторвись, отвернись от всякой боли, Настенька, любимая Настенька. Думай, как раньше, что соединяет нас только мечта, только сон, и ничего больше. Будем искать друг друга только во снах, моя хорошая. Не станем слишком часто открывать глаза. Ну, а вдруг, всё-таки, у сыскного люда где-то просочится капля жалости. Полагаться, конечно, на это не стоит, но и чуда этого исключать тоже .

Мне переслали твоё приглашение. Я снова затеял перебранку с партийным хамовьём по поводу хвалёной *характеристики*. Подлейшая, беззастенчивая мразь ! Беспробудно тупые деревенские сатрапы, полудикие и всемогущие. Холопы без тени совести, чести или человечности. Ты и сама видела, в мае, что это за пентюховатое остолопие.

Снова дичайшие, косноязыко выраженные подозрения, игры в посулышки, уловки, ловушки, умолчания и, более всего : справки, заявления, печати, подписи, подтверждения, регистрации, разрешения, поручительства, уведомления, собрания, заседания, *кто его знает, знать не знаем, надо узнать, не к спеху...*

У древнего раба выжимали только дело, у средневекового вольноотпущенника уже вырывали исповедальное слово, а в наши дни, у самого вольного человека на свете, разнящуюся мысль. И делать и думать следует строем, хором, оптом.

Хуже чем двоедушие, это извечное расщепление в языческой и на советском поприще никогда не пресуществляемой троице : мысли, слова, дела. Вот и заживает каждая ипостась в своём наделе, отчего поползёт по слову тошнота, по делу – равнодушие и по мысли горечь.

Не столько умыканием за тридевять земель карает торжествующее зло, сколько погружением носа, ушей и сердца в смрад, гниль и сушь полудобра, полуправды, полужизни.

Их власть заключается не столько в тяжести железных ярём, сколько в густоте их бумажной паутины. Рабские движения подходят лучше всего для высвобождения, но всякая резкость, всякий мятеж, пробуждают дремлющих пауков, и тогда-то плотоядные инстинкты вырываются наружу, расходятся.

Кстати, никто и не помышляет вымощать чем бы то ни было путь в этот ад : всюду самая плёвая, недвусмысленная грязь, ни спотычливого худа, ни сглаженного блага. В этом кошмаре беззакония так абсурдно всякое разумное словопрение, ведь разумность возможна лишь в той среде, в которой, а вернее, над которой, возведены обще-действительные законы. Когда же эта основа, эти аксиомы, рассекают самую среду, не оставляя заметных границ (и каждый должен постоянно спрашивать себя, с какой же стороны рубежей он находится), тогда нелепица и своеволие торжествуют надо всем остальным.

У своих зачатков всякое новое общество обходится провозглашением одной единственной, одномерной лжи (или однодневной правды, что ещё хуже), лжи, касающейся той грани существования, которая, в сию минуту, олицетворяет его мощь, злободневность и обоснованность. Не ограждаясь рогатками свободного сомнения, глухая к дальнослышным набатам кривда неуклюжимо вторгается во все размерности жизни, вовлекая в свою кривизну всё новые и новые человеческие прямоты, от чувства справедливости до потребности любви. Ты от правды не пядень, а уж она от тебя на сажень. Про правду слышали, да кривду видели.

Правда не наследуется, она не может быть многолетней, самовоспроизводящейся. А у нас только и делали, что пересаживали её видимость из поколения в поколение, чтобы вывести из неё, наконец, светостойкую, тенелюбивую ложь, толкущуюся на кромешном бессудье.

Снова и снова я упражняюсь в прочтении гили и голи дней как неудающихся переводов с совершенного языка вечности. В похабье, нелюбье и примитивности бытия да не увязнет призыв Чистоты, Вечной Женственной и Нежности. Твоя любовь спасает от ужаса этих дней, не осенённых твоей солнечной улыбкой. Ты помнишь ли ещё грозу в нашу последнюю ночь? Со мной была уже Настя короткого прошлого, а Настя долгого будущего была где-то среди молний.

Со мной, в студенческом общежитии, в одной комнате, было трое: вологодский пнище, намертво усаженный в безвопросный круговорот жизни, киевский заиудоизированный числоед, ладно заслонённый от инакомыслия слоновою кожей благоразумия, и венесуэльский мятежник, осенённый мщением и убеждённый, что выравненной раздачей благ можно осчастливить человечество. Первый – воплощение уродства, второй – доуки, третий – истока нашего безвременья. На одном подивишься жизнеспособности неразборчивых человеческих корней, в другом окинешь опешившим взором громаду человеческой пустыни, в третьем поддашься неотразимому правдоподобию её миражей.

Всё хорошее – в нас, мы шарим вовне, чтобы отыскать что-нибудь получше, нападаем на плохое и приохочиваемся к нему, чтобы упасть от наихудшего, – и такова последняя российская история. Пороки, апостолы, плуты – *du vent, du sang, du gang*.

Я с тобой, любовь, пока ещё умею верить, дышать и плакать. А между тем, с губ моих уже стаяли печати твоих поцелуев, и грудь отчаивается, ища волнения твоих объятий, милая, милая...

LXXXIII. Сентябрь

Ещё день, ещё ночь, ещё стон, ещё вздох, но где-то теплится наша опальная жизнь, и это превыше всего и сильнее всего. Зачем, зачем мы отдали все силы обживанию светлого одиночества, так далёкого этому деловитому миру? Какая ирония, какое варварство! Выжить, выжить, не дать слезам вытравить нашу ясность! Сожжём ещё раз наши сердца, милая, - злорадству презренных скотов не увидеть нашего отречения.

Несколько дней назад, я оборвал было сон, хотел проломить воплями гнусную стену безответства, но некие глаза, лучше моих разбирающиеся в казённых потёмках, указали мне на жуткие рвы перед стенами, прямо передо мной, рвы, в которые я бы свалился при первом же шаге, причём падение это не отозвалось бы ни малейшим эхом для нашей настоящей жизни.

У них достаточно психушек и узилищ, чтобы упечь меня, но любовь моя достаточно высока, чтобы перенестись за все стены, сквозь все глумления отравителей. Я уже принял меры предосторожности: они не смогут задушить меня и, разом же, заглушить мой клянущий голос. У французского консула моё последнее слово.

Я чувствую в себе бешенство и унижение дикого, затравленного, опутанного, обещенного зверя, брошенного за прутья. Это я-то, всю свою жизнь не знавший ни когтей, ни укусов, ни охоты на других. Скулить, жалобиться – да мои охотнички оттого лишь ещё больше бы возродились. Я вижу окровавленные пальцы, тыкаются в меня и объясняющие что-то изрядно скучающим, праздным зевакам. Над моим вскрытым сердцем что-то растолковывают мясникам, вероятно что-то о свежаванье, о наиболее уязвимых во мне местах.

Какая, однако же, ирония : всю жизнь отворачиваться от клеток, в которых содержались другие (при всей моей свободе-нежизни) и вдруг очутиться в своей собственной !

О зле, которое творят, они и не задумываются. словно с деревянных человечков они продолжают спускать с нас стружку, тобишь снимать с нас кожу.

Как бы я ни кричал, все уши заткнуты. Как бы ни бился головой о стены, они и не думают давать трещины. Люди, забавляясь, мстят мне, считаются со мной за то, что я никогда их не замечал, никогда в них не нуждался. Я всегда был слишком самим собой в той среде, где не быть с ними значит быть против них.

Я не был ни актёром, ни зрителем. Мне просто не предложили входного билета в театр наших дней, а оттого и это моё невежество в распределении ролей и моя отъявленность.

У тех, кто играет, есть сны. У тех, кто бьёт в ладоши, есть сено. У тех, кто освистывает, есть кляп. Тем же, что остались за дверьми, - заплечные удары или равнодушие.

Да, полнота жизни открывается в минуты трагедии, но цена тому – сжигаемые годы. И хоть живём мы шутя, помрём-то взаправду.

Я забыл что такое забытьё. Я слишком ясно вижу в мраке. Но я подчиняюсь своей неприручимой природе – только так можно её управлять. Природа волочит за собой тех, кто ей противится, и повинуется следующим за нею. Нужно подходить к ней с голыми руками, притупляя даже сердце, это донкихотово оружие перед бункерами человеческой бессовестности.

Мы столь же уязвимы, что и молодые ростки на заезженной дороге : караваны их топчут, хищники их клюют, вырывают, пыль и булыжники не дают соединиться с почвой, с природой, с жизнью.

Сто раз просыпаюсь утром, взволнованный и, в то же время, облегчённый, - мы увиделись во сне, - сто раз, вечером, я тащу на себе в заиндеветшую ночь груз дневной борьбы со слишком обнищавшей головой и слишком разбогатевшим сердцем. А потом сон – бунт головы и милосердие сердца.

О, пошли мне отупения, бесчувствия, одеревения – эта пустота не должна заполняться моей болью, не должна. Услышь меня, хорошая моя, утишь что сможешь, разожги что сможешь, осуши. Всё дни считать, и слёзы, и воспоминания. И всё меряться силами с чудищем времени и жизни без тебя. Пусть я разучился жить без тебя, ничто меня не разучит тебя любить. Но ждать – самое ненавистное слово, висящее над нами, как эта осенняя туча, налившаяся тоской и надеждой. А наши взгляды всё пытаются заглянуть за неё где-то там, выше, - свежесть, солнце, покой, остановившийся листопад.

Сегодня особенно суро. Сегодня душит неприлаженность души, как вчера угнетала заточённость сердца, как завтра, быть может, докопает рассудочная память или обеспамятевший рассудок. Засасываться в слякоти обихода, обматываться видимой оглядью, перебарывать высокие водобоязни – и камни, камни просятся на шею.

Тысячи чёрных птиц тянутся по подмосковному небу, что-то они мне накаркивают, в зловещих своих хороводах. Они запутывают мои мысли – на воздух, на воздух...

В эти часы упадка и расслабления я будто понимаю, как рождаются культы богов, за чем прячется объяснение жизни, что убивает разум и порождает плоть. Когда-нибудь, как знать, мы удивимся, что лицо это было так искажено болью, - но слушай, слушай меня : близ тебя или без тебя, но я сохраню твою любовь во всей её бесподобной красе.

Сердце движется звуками твоего имени, но губы, те самые губы, что шептали тебе *люблю*, - эти губы заходятся горем и безрассудством в эту минуту.

Если и упадут ещё мои подлинные вызовы, это будет во имя твоё, Настенька. И справедливость заговорит языком твоей красоты, и разум обопрётся о твоё сердце, и высшее благо сведётся к твоей близости. Я люблю тебя, моя радость, люблю всем, что ещё помнит о ясности и свете. Но как научиться уходить от спазм, когда рядом нет твоих рук, как научиться закрывать глаза, когда обжигает одиночество.

Вместе с руками, дарю тебе и все улыбки, а если в них и мелькнёт слеза, то в ней вся моя верность и всё моё горе. Так далеки твои любимые глаза.

Мне нужно будет где-то отыскать такие улыбки, которые выровняли бы все судороги этих бесчеловечных месяцев. Пошли же мне один из тех поцелуев, что прогоняют всякую мысль о жизни вдали от тебя, от твоих губ. На границах дня и ночи, тишины и криков, жизни и пустоты наши руки любят, и гордо и затравленно.

Только твой, только тобою, только во имя твоё. Люблю, люблю тебя, и эта любовь всегда подскажет, чего от меня ждёт любовь твоя. От желаний моих до моих горестей я открыт только перед тобой. Бесконечно, невозвратно люблю тебя.

О, этот глухой, тупой, мертвящий мир, нас не знающий, но нас мучающий, не слышащий нас, но нас осуждающий. Мир, обдающий меня отрыжкой непонимания. Я не вносил в него зла, и это отвержение бесчестно, незаслуженно.

Мы будем достойны наших радостей, как и наших кошмаров, ведь правда, любимая? Мы были безвестными бродягами, на нас ополчались ветры, дожди, стужи, грязь, автобусы, дежурные, плуты,

сыски, тупицы, чиновники всех мастей, а мы всё твердили, хотя бы и сквозь рыдания : *Сегодня мы были ещё счастливые, чем вчера.*

Жизнь людей столь же скудна, что и книги. Ни тем, ни другим, ни принизить нашей жизни, но тем, кто не найдёт союзника среди людей, мы протянем книгу нашей любви.

На поверку люди требуют крови, но родство с нашей книгой установится самим сердцем. Не важно, что при этом тоне иногда прольётся кровь, это значит, что будет бить через край радость, страдание, восхищение, сострадание, - не важно...

С другого конца этой безмозглой Земли я посылаю тебе мои мысли о нежности и мужестве.

LXXXIV. Октябрь

Мерзко от этих невыносимых цифр, мерзки все озверевшие существа, убивающие нашу жизнь. Бездонно, бесславно один, один с непризнанной, с попранной любовью. Беженствую в тебе.

Единственная, понятливая душа, очутившаяся на час рядом, ужаснулась моим судорогам, да тут же и предала меня, разжалобившись и предложив махнуть на всё рукой и упрятаться в сибирских буераках, куда и без того меня хотела упечь власть. Кормилица Джульетты знавала также слабости. Да возможно ли, что я так предал тебя, тебя, называющую меня своим счастьем ! Нет, нет, и даже этой меньшей чудовищности, вовсе не жить, я не совершу, пока буду знать, что в сердце твоём ещё живо моё имя.

Они потешаются, отлаживая на мне всё новые и новые пробы терпения и хладнокровия. О, гнусная раса палачей по призванию, о, стадо, жаждущее крови и слёз, - вопреки мне самому, они обучили меня науке ненависти.

Этот выродок-мир и век-волкодав никогда не поймут, что они пытались погасить. Иллюзий на этот счёт у меня больше не осталось. Но мы, как говорят некоторые, будем жить, любовь моя, мир мой, смирение моё, ты, бывшая моей жизнью.

Снова братья за свой крест, волочься на ежечасную Голгофу, пить до конца чашу горечи и бессилия. Суть моих часов настолько пуста и глубока, что эха одной единственной слезы уже достаточно, чтоб оглушить и испепелить. Телефон отзвонил – твоя нежность невыносима...

Господину Л, Генеральному Консулу Французской Республики

... Она любит русский язык, литературу и музыку моей родины и, самое главное, русскую душу, её всеотклик, умение подняться над злобой дня, следование своим, идеальным и неуследимым законам, вне очевидного благоразумия.

Не проконсультировавшись в КГБ, мы решаем быть вместе, в Москве, навсегда. Но не тут-то было. Перед нами возводят непреодолимые бюрократические преграды. Ни 7-ми настинных наездов, с туристическими группами, ни обивания порогов всех мыслимых и немыслимых учреждений, не хватило ни на *оформление* ворохов брачных справок, ни на *трудоустройство*.

С официальным *приглашением* дело ещё более безвыходное. Для его представления советский гражданин обязан набрать по месту работы ряд чиновничьих подписей под своей *характеристикой*, обычно набором стереотипных, убогих фраз, списываемых самим *характеризуемым* с ходячего образца и сводящихся к описанию казённой благонадёжности.

Лишь пламенным сочувствием ко всем начальническим нравоучениям и чистосердечным сокрушением при всякой их укоризне можно вымолить, на парткомовском судилище, *оправдательную* подпись, а уж затем, в коридоре, авторитетно втолковывать волнующимся докторам наук и первокурсницам самые правильные сведения о членах Политбюро и о причинах господства в нашей стране поголовного единомыслия.

Многие месяцы я таскаюсь по парткомам, наводя смятение в вереницах соискателей своим безнадежным политическим невежеством и изгоняясь самым безапелляционным образом при горестном покачивании голов напрасно докучаемого ареопага. Чтобы я не очень огорчился, мне предлагалось вернуться к своим домогательствам эдак через годок-другой, а тем временем активно знакомить членов парткома с ходом моего *уравновешивания* и обогащения правильного кругозора.

Но оказывается, и ублажив 13 начальников, я не сделался бы достойным приглашать выкормышей капитализма – у меня нет *закрепленной* за мной *жилплощади*. Никакой готовностью к бедствованию графы *жилплощадь* нам не заполнить.

Мы счастливы, оставаясь вместе то 5, то 7, а то и 10 дней кряду. Мы бродим по промёрзшим московским улицам до последнего поезда метро ; потом я потащусь на раскладушку, в кухне одного сердобольца (чья жена не скрывает своего отвращения к бродягам и живо интересуется уложением о наказаниях), а Настя будет глотать слёзы в своей гостинице, по коридорам которой перекатываются басы люто ненавидимого нами сословия *дежурных*.

Придёт утро, когда после ставших мне слишком знакомыми рыданий я не услышу её слов : *И всё-таки я люблю эту страну !* - она скажет : *Я её ненавижу !*

Нам подсовывают квартиру, оказавшуюся лишь полицейской западней. Нам назначают день свадьбы, но, в последний момент отказывают во въездной визе моей невесте. В ЗАГСе меня уведомляют, что все ворохи справок просрочены, вся канитель должна начинаться сызнова.

Снова мне изучать приёмные дни парткомов, с прежней *характеристикой*, но с ещё более вызывающим поводом : выездом по

приглашению в капстрану. Но кроме обычного упоения самовластьем и незамысловатого хамства, я так ничего и не увижу.

Мне не до извинений за политическую близорукость в моём и без того слепящем отчаянии, не до кивков на участь негров и безработных где-то там, по ту сторону рубежей, опутанных нашей колючей проволокой. От года общения с низменными и самодурными чиновниками я растерял всякую терпимость. То, что я пишу, не выверенный манифест, не издевательский памфлет, ни благонамеренные размышления. Мне больно, и я воплю, скрученный и оглушённый, воплю, уже не зная ни мер, ни слуха, воплю, бессильный и обеспамятевший...

Я ненавижу эту страну, потому что везде пороки системы излечиваются потом и кровью, но в моей стране существование болезней – государственная тайна, и их разглашение – преступление. По какой-то злой воле эта страна сочетает в себе всё, что есть бесчеловечного в духе Азии и в духе Европы, общечеловеческое же благо оседает лишь в её отверженцах. На колючих шипах азиатской одержимости и узости привилось буйное европейское потребленчество. В ходу европейское притворство при азиатской пустоте.

Кому же вспоминать о соперничестве со свободной европейской глубиной и с тонкой азиатской нежностью ? Кому открывать заново то, чего не было ни у кого - всеземную русскую задушевность, загадочную для европейца с его извне запрограммированным поведением, невыносимо обнажённую для скрытных и импульсивных азиатов ? Но мало кто из зорких ушёл от русского ножа в это роковое столетие.

Я ненавижу эту страну, потому что везде сильные морочат слабых, но в моей стране, утопленной во лжи по самые многоёмные уши,

излюбленной речью тиранов стало народолюбие, а рабы изумляются и негодуют, когда им говорят, что они – рабы. Отвратительно сообщничество хамов-тиранов и хамов-рабов.

Я ненавижу эту страну, потому что везде ищется и насаждается национальное единомыслие, но в моей стране всякое публичное изъявление мысли изурпировано скопищем карьеристов по цели, мещан по духу, циников по убеждениям, убийц по натуре, хищников по нраву, именуящем себя партией. Везде к господствующему течению стекаются подонки, но здесь уже сами призывы клики заставляют отшарахнуться всякого честного и неглупого человека. И если и есть в партии французской кое-какие искренние головы, то оттого, по-видимому, что из её словаря ещё не изъяты *справедливость, равенство, свобода*, начисто выбеленные в советском Домострое.

Я ненавижу эту страну, потому что везде благоусаженная толпа потешается над бессилием шумно бунтующих идеалистов, но в моей стране – это плебейское глумление над доведёнными до скотского безгласия одиночками. Везде гонят, страшатся тех, кто тянется не только к газетно-поощряемой свободе, но в моей стране их прозаически гнетут и на рыцарские вызовы отвечают будничным ярмом, набрасываемым на бесправные шеи глухими и неумолимыми партийно-полицейскими руками.

Я ненавижу эту страну, потому что везде неправые правители порочат обманно провозглашаемые идеалы, но в моей стране изгажены одни из самых светлых. В *подлинной* свободе легко уживается самое необманчивое угнетение: *народная демократия* оборачивается забитостью и равнодушием большинства, изолированностью и большинству никакого прока не доставляющей мукой меньшинства. Не освободились здесь люди от власти денег, но к ней добавилась власть, тысячекратно более унижительная и

мучительная, особенно для развитых существ, - власть всеусущей, бескультурной, корыстной и неуязвимой бюрократии.

Я ненавижу эту страну, потому что везде людьми движет приземлённая расчётливость и открытая тяга к приобретательству, но в моей стране клан избранных ханжей (партийно-государственная элита, полезные учёные и холопы *творческая* интеллигенция) начисто замкнулся от остальной страны за номенклатурной сетью тайных привилегий, а мещанский дух, занесённый ими в низшие слои, вовлекает всех в ожесточённую, каждодневную колотёбу за скудные, но престижные предметы быта.

Я ненавижу эту страну, потому что везде ум поставлен на службу безнравственным целям, но в этой стране, чем выше ум, тем он продажней и бессердечней, люди же с сердцем – жалки и забиты. Когда поэты глупы, а гении сухи, впору говорить о моральном вырождении нации. Это словно второе монгольское нашествие, с тем отличием, что тогда материальное унижение привело нас к духовному обнищанию, теперь же унижение духовное должно, якобы, служить материальному обогащению. В искусстве культивируется фальшь, в науке – моральная безответственность, и над обоими – щедрость (вплоть до закрепления к продовольственным распределителям) к наиболее проворным правильным художникам и наиболее головастым творцам пушечно-кагебешных достижений.

Я ненавижу эту страну, потому что везде обречены одиночеству те, кто плохо вписывается в свою среду, но в моей стране у человека нет права на одиночество. Всякий, уходящий в себя и не исполняющий вместе с кагалом заведённого *идеологического* ритуала, тут же делается подозрителен, и его будут всюду преследовать безжалостное *общественное* давление, пока не выжмет из *нестойкого товарища* каких-нибудь пустейших лояльных заверений, закрепляющих

известное сообщничество и клеймящих совесть несмываемой гадливостью.

Я ненавижу эту страну за варварскую, ничем не оправдываемую несвободу. Не смешна нам, как сто лет назад русским либералам, формула свободы как *возможности делать то, что дозволено законами*, но так головокружительно недостижима, что прямое ей следование выбивает из-под ног всякую почву и погружает в клоаки самых свирепых немилостей со стороны повсеместного, всеуровневого самоуправления и самодурства. Какого-то увлечённого и отвлечённого рассудочника можно убедить, что во имя становления *нового общественного строя* никак нельзя было обойтись без миллионов простреленных и по-иному замученных голов, но сейчас, с чудовищной, легко манипулируемой армией, с ещё более эффективной и полновластной тайной полицией и с совсем не дерзким населением, сейчас, когда, кажется, увидь Европа признак человечности в нашей страшной, но для многих приманчивой системе, и лучшая её часть станет прокоммунистической по простому волеизъявлению большинства, - сейчас этой несвободе я не вижу никакого иного объяснения, кроме одного - страха (традиция самовольничанья уже отошла на второй план). Даже изрядными глотками свободы эту вонючую систему не проветришь и не обновишь, да и не здоровье отданной им на откуп страны заботит тиранов - им страшно потерять раздутый угодничающий ложью вокруг их жалких голов ореол полубожков, в котором, при свободе, все бы тотчас разглядели шутовской колпак или мужицкий треух.

Я ненавижу эту страну, потому что оказался ей не нужен. Показав мне это давно, она хочет продлить это прозябание и сейчас, когда приложение моей воли нашлось вне неё. Произвол рядится в заботу о государственных интересах. Самый ужасный русский царь прошлого века не удерживал даже бунтарей, и это в шаткую пору европейских

революций, а упивающиеся *МОНОЛИТНЫМ ЕДИНСТВОМ* с народом правительство чинит дичайшие препятствия всякому, кто хочет отправиться за границу без направления комсомола, КГБ или Союза художников, организаций, близко родственных по духу и стилю работы.

Я ненавижу эту страну, потому что так хотел её любить, ничего взамен не требуя и всё принимая, а она, до сих пор не замечавшая меня и меня чуждавшаяся, теперь хочет отнять моё единственно возможное счастье. Жить среди этого злорадного хамья и пытаться зализать свою боль, свыкаясь с пустотой, - не для меня.

Послесловие

А теперь надо открыть глаза на век текущий. Огромная пропасть лежит между былой обнажённостью и ранимостью слова и его нормализованностью и безликостью сегодня.

Мы стали так далеки эпохе Просвещения, что сентиментальность и лиризм, вне литературы, вызывают одни насмешки. Логосфера повержена иконосферой. Свобода посредственности смела несвободу одиночек.

Одни историки и старики могут разглядеть в этих письмах отзвуки той страшной эпохи, при которой любое дуновение воздуха свободы могло свести с ума интеллигентов, затравленных властным невежественным хамьём.

Впрочем, Россия XXI-го века возвращается к недавней дикости. Парадоксальным образом, это могло бы сделать понятнее отчаяние, пропитывающее эти надрывные письма.

Читатель, родившийся и живущий при свободе, никогда не докопается до истоков экзальтированности, разлитой с такой наготой в этой книжице.

С другой стороны, признаваться, что она доступна одним рабам, наполняет меня досадной меланхолией.

А что если, как и в моих литературных упражнениях, единственным реальным собеседником станет Создатель, тот кто заложил в нас чувство добра, душу красоты и силу правды ?

Это вызывает и гордость и отчаяние.

Одни историки и старики могут разглядеть в этих письмах отзвуки той страшной эпохи, при которой любое дуновение воздуха свободы могло свести с ума интеллигентов, затравленных властным невежественным хамьём.

Впрочем, Россия XXI-го века возвращается к недавней дикости. Парадоксальным образом, это могло бы сделать понятнее отчаяние, пропитывающее эти надрывные письма.

Иной век, иные тональности, иная чувствительность, иные рамки свободы и несвободы.

Я продолжаю традицию *Новой Элоизы* и *юного Вертера*.

